

# Уильям Фолкнер

Особняк

Йокнапатофская сага

Уильям Фолкнер

**Особняк**

1959

## **Фолкнер У. К.**

Особняк / У. К. Фолкнер — 1959 — (Йокнапатофская сага)

Роман `Особняк` известного американского писателя Уильяма Фолкнера (1897 – 1962) – последняя часть саги о Йокнапатофе – вымышленном американском округе, который стал для писателя неиссякаемым источником тем, образов и сюжетов.

## Содержание

1. МИНК	6
2. МИНК	25
3. В.К.РЭТЛИФ	32
4. МОНТГОМЕРИ УОРД СНОУПС	39
5. МИНК	52
6. В.К.РЭТЛИФ	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

## СОДЕРЖАНИЕ

# Уильям Фолкнер

## Особняк

*Эта книга – заключительная глава, итог работы, задуманной и начатой в 1925 году. Так как автору хочется верить и надеяться, что работа всей его жизни является частью живой литературы, и так как «жизнь» есть движение, а «движение» – это изменения и перемены, а единственная антитеза движению есть неподвижность, застой, смерть, то за тридцать четыре года, пока писалась эта хроника, в ней накопились всякие противоречия и несоответствия; этой заметкой автор просто хочет предупредить читателя, что он уже сам нашел гораздо больше несоответствий и противоречий, чем, надо надеяться, найдет читатель, – и что эти противоречия и несоответствия происходят оттого, что автор, как ему кажется, понял человеческую душу и все ее метания лучше, чем понимал тридцать четыре года тому назад; он уверен, что, прожив такое долгое время с героями своей хроники, он и этих героев стал понимать лучше, чем прежде.*

**У.Ф.**

## 1. МИНК

Итак, присяжные сказали: «Виновен», – и судья сказал: «Пожизненно», – но он их не слышал. Он и не слушал. В сущности, он и не мог ничего слушать с самого первого дня, когда судья стукнул деревянным молоточком по высокому пюпитру и стучал до тех пор, пока он, Минк, не отвел глаза от дальней двери судебного зала, чтобы выяснить – чего же, в конце концов, хочет от него этот человек, а тот, судья, перегнулся через пюпитр и заорал: «Вы, Сноупс! Вы убили Джека Хьюстона или нет?» – а он, Минк, сказал: «Не трогайте меня! Видите – я занят!» – и снова повернул голову к дальней двери в конце зала и тоже заорал в упор – через, сквозь стену тусклых, мелких лиц, зажавших его со всех сторон: «Сноупс! Флем Сноупс! Кто-нибудь, позовите сюда Флема Сноупса! Я заплачу! Флем вам заплатит!»

Так что слушать ему было некогда. В сущности, и в тот первый раз, когда его повели в наручники из камеры в зал суда, это была бессмысленная, возмутительная нелепость, глупое вмешательство, лишняя помеха, да и каждый раз это хождение в суд под конвоем только мешало правильно решить дело – его дело, да и дело этих проклятых судей, – надо было бы выждать, оставить его в покое: все эти долгие месяцы между арестом и судом у него была единственная, самая насущная потребность – ждать, стиснув грязными пальцами ржавые прутья тюремной решетки, выходившей на улицу.

Сначала, в первые дни за решеткой, его просто брала досада на собственное нетерпение и – да, он это признавал – на собственную глупость. Ведь задолго до той минуты, когда пришла пора вскинуть ружье и выстрелить, он уже знал, что его двоюродный брат Флем (единственный член их семьи, который имел и возможность и основания – во всяком случае, от него одного можно было ждать этого – вызволить его из неприятностей), что Флем уехал и ничего делать не станет. Он даже знал, почему Флема тут не будет, по крайней мере, год: Французова Балка – поселок маленький, тут все знали обо всем и про всех все понимали, зачем он уехал в Техас, даже если бы из-за этой уорнеровской девчонки не поднимали вечно шум и визг, с тех пор как она сама (а может, и кто другой) заметила, что у нее появился первый пушок, уж не говоря про ту прошлую весну и лето, когда этот оголтелый парень, мальчишка Маккэрронов, крутился около нее и дрался с другими – ни дать ни взять свора кобелей по весне.

Так что задолго до того, как Флем на ней женился, он, Минк, да и вся округа на десять миль от Французовой Балки уже знали, что старому Биллу Уорнеру нужно было выдать ее замуж за кого угодно, да поскорее, если он не хотел, чтоб у него весной на выгоне пасся приبلудный жеребенок. И когда на ней в конце концов женился Флем, он, Минк, ничуть не удивился. Этому Флему всегда везло. Ну, ладно, не только везло: он был единственным человеком во всей Французовой Балке, который мог постоять за себя, потягаться со старым Биллом Уорнером; в сущности, он уже почти вытеснил Джоди, сына старого Билла, из лавки, а теперь, став зятем старика, норовил захватить ее целиком. Женившись, да еще вовремя, чтобы дать имя ее пашенку, Флем становился не только законным мужем этой проклятой девчонки, которая с пятнадцати лет одной своей походкой распяляла всех мужчин моложе восьмидесяти, но ему за это еще и приплатили: он получил не только законное право лапать ее, когда ему вздумается, – а человеку стоило только вообразить, что ее кто-то лапает, как он себя не помнил, – но ему еще за это отдали в полное владение усадьбу Старого Француза.

Да, он знал, что Флем не придет, когда потребуется, потому что Флему с молодой женой надо пробыть вдали от поселка до тех пор, пока про то существо, что у них родится, можно будет говорить, будто ему исполнился всего один месяц, и никто при этом не помрет со смеху. Но когда наконец подошла та последняя минута, тот последний миг и ему уже никак нельзя было не прицелиться и не спустить курок, он об этом забыл. Нет, неправда. Ничего он не забыл. Просто ждать стало невмоготу, Хьюстон сам не дал ему подождать, и это было послед-

нее оскорбление, которое нанес ему, умирая, Джек Хьюстон: заставил его, Минка, убить себя в такое время, когда единственный человек, который мог спасти Минка и спас бы непременно, волей или неволей, по извечным неизменным законам кровного родства, – этот человек находился за тысячу миль, и это оскорбление ничем нельзя было смыть, потому что, нанося его, Хьюстон сам уходил от всякого возмездия.

Нет, он не забыл, что его родича поблизости нет. Просто ждать дольше было невозможно. Просто ему пришлось положиться на *Них* – на *Них*, про которых сказано, что ни один волос не упадет с головы без *Их* воли. *Они* были для него вовсе не тем самым, как его ни назови, кого люди величают Старым Хозяином. Не верил он ни в какого Старого Хозяина. Насмотрелся он в своей жизни такого, что если бы и вправду существовал какой-то Хозяин, да еще, как говорят про него, всевидящий и всемогущий, так уж он наверняка вмешался бы. К тому же он, Минк, никогда верующим не был. В церковь он не ходил лет с пятнадцати и ходить не собирался: чего делать там, где какой-то малый, у которого бурчало в животе и зудело под ширинкой, – тут домашними средствами не обойтись, – называл себя проповедником Божиим, чтобы под этим предлогом собрать побольше баб и соблазнять их услугой за услугу – они ему набьют пустое брюхо, а он им за это тоже услужит, как только муж уйдет в поле, а жена словчится убежать в кусты, где ее и будет ждать проповедник; и бабы шли в эту молельню, потому что нельзя было выгоднее обменять жареную курицу или картофельный пирог, а мужья приходили не затем, чтобы помешать этим сделкам, потому что муж понимал, что никак помешать не может, кишка тонка, а затем, чтобы вывести, попадет ли его жена в очередь сегодня или он еще успеет проборонить последнюю сороковку, а уж потом, если придется, привяжет жену ремнем к спинке кровати, а сам спрячется за дверь и станет ждать, что будет; молодежь, та и вовсе не заходила в церковь, даже для виду, а прямо бежала парочками в ближние кусты.

Минк просто считал, что *Они* – *Он* – *Оно*, как бы их там ни назвать, должны быть воплощением основной естественной справедливости и равенства в человеческой жизни, а если это не так, значит, и противиться бесполезно. Не могут же *Они* – *Он* – *Оно*, зовите как угодно, вечно мотать и мытарить человека и не позволить ему в какой-то день, в какой-то миг самому дать сдачи, по справедливости, по праву. Пусть *Они* его мотают и мытарят, пусть *Они* даже просто сидят и смотрят, как все складывается против него, как удары сыплются ему на голову без передышки, будто по заказу; пусть *Они* просто сидят и смотрят, а может быть (ну что ж, почему бы и нет – человеку это нипочем, если он только настоящий человек и раз так полагается по справедливости), даже радуются; может быть, *Они* его испытывают, проверяют – настоящий он человек или нет, хватит у него силы выдерживать всякие мытарства и мотания, чтобы заслужить право дать сдачи, когда придет его черед. Но когда-нибудь настанет час, и он, в свою очередь, заработает это право по справедливости, законно, точно так же, как *Они* заработали право испытывать его и даже радоваться его испытаниям; настанет час, когда *Им* тоже придется доказывать ему, что и *Они* – настоящие, как он доказал *Им*, что он – настоящий человек, тот час, когда он не только сможет на *Них* понадеяться, но заработает себе право надеяться на *Них* и знать, что теперь-то *Они* его не подведут; и *Они* не посмеют, никак не осмелятся подвести его, иначе *Они* так же сами себе опротивеют, как он в конце концов опротивел себе, оттого что терпел все, что приходилось терпеть от Джека Хьюстона.

Так что он еще в то утро отлично знал, что Флем сюда не явится. Но ему просто невольно стало ждать, просто подошел тот час, когда им с Джеком Хьюстоном больше нельзя было дышать одним воздухом. Значит, раз его двоюродного брата тут нет, ему оставалось только одно – право надеяться на *Них*, право, заработанное тем, что за всю свою жизнь он ни разу ничего с *Них* не спрашивал.

Все началось весной. Нет, раньше, прошлой осенью. Нет, даже еще раньше, задолго до того. Началось это в ту самую минуту, как родился Хьюстон, уже с задатками наглости, нетерпимости, упрямства. Нет, не в ту минуту, как они оба, Хьюстон и Минк Сноупс, стали дышать

одним воздухом – воздухом Северного Миссисипи, потому что он, Минк, никогда ни с кем не спорил. Никогда он спорщиком не был. Просто всю жизнь его так мотало и мытарило, так ему не везло, что волей-неволей приходилось неотступно и упорно защищать самые насущные свои права.

Но только с лета, перед той первой осенью, судьба Хьюстона неразрывно и окончательно связалась с судьбой Минка, и это было еще одним проявлением извечной обиды: никто, даже *Они*, и меньше всего *Они*, не соблаговолил предупредить Минка, к чему приведет эта первая встреча. Случилось это после того, как молодая жена Хьюстона пошла искать куриные гнезда на конюшню, где стоял жеребец, и жеребец этот убил ее, ну и, конечно, каждый порядочный человек решил бы, что ни один порядочный муж ни за что не заведет себе второго такого жеребца. Но Хьюстон был не такой. Хьюстон был не только достаточно богат, чтобы держать кровного жеребца, который мог убить его жену, он был еще настолько нагл и упрям, что, пристрелив жеребца, убившего жену, и пренебрегая всеми приличиями, тут же купил другого, точь-в-точь такого же, может, на тот случай, что придется опять жениться, а сам хоть и делал вид, что так убивается по жене, что даже сосед" боялись к нему постучаться, но все же раза два-три в неделю скакал по дороге на этом коне, будущем убийце, и рядом, словно борзая или жеребенок, бежал его огромный волкодав, и он подъезжал к лавке Уорнера и даже не спешил; все трое останавливались на дороге: упрямый, наглый всадник, жеребец, косящий злым глазом, и пес, который скалил зубы и ошетикивал загривок, стоило только подойти, – и Хьюстон приказывал кому-нибудь из сидевших на открытой галерее зайти в лавку и принести ему то, за чем он приехал, как будто тут сидели негры.

А в то утро он, Минк, шел в лавку (у него-то не было лошади, чтобы съездить за жестяной табаккой, или склянкой хинина, или куском мяса), и он только что поднялся на невысокий холмик, когда услышал топот копыт, частый и громкий, и он уступил бы Хьюстону дорогу, если б успел, но жеребец почти налетел на Минка, когда Хьюстон резко осадил его, а подлый пес чуть не прыгнул ему на грудь, рыча прямо в лицо, и Хьюстон, круто повернув вздыбленного жеребца, заплывавшего на месте, крикнул: «Какого черта стоишь, ты же слышал, что я еду? Прочь с дороги! Хочешь, чтобы он тебе мозги вышиб, видишь, с ним не справиться!»

Что же, может, это и называется убиваться по жене, будто не по твоей вине она погибла, будто не ты сам прикончил того жеребца. Хватило же у него наглости, или просто денег хватило, купить второго коня, точь-в-точь похожего на того, что ее убил. Но ему, Минку, до этого дела не было, надо было только дожидаться, пока раньше или позже этот сволочный жеребец не убьет самого Хьюстона, но тут случилось то, на что Минк и не рассчитывал, чего не предвидел и даже не предполагал.

Началось все с дойной коровы, единственной его коровы, потому что он был не такой богач, как Хьюстон, а просто человек независимый и ни у кого одолжений не просил, за все сам расплачивался. Она, эта самая корова, каким-то случаем прохолостела, а он оказался ни с чем – не только просидел всю зиму без молока, но и впереди его ждал такой же год, да и теленка не было, а он заплатил пятьдесят центов за случку, потому что меньше чем за доллар можно было повести корову только к непородистому быку, чей хозяин-негр требовал плату вперед.

Вышло, что он кормил корову целую зиму и ждал теленка, а теленка не оказалось. Потом пришлось опять вести корову за три мили к тому негру, не затем, чтобы требовать обратно свои пятьдесят центов, а чтоб второй раз случить корову с быком, но негр отказался и потребовал вперед пятьдесят центов, и он, Минк, стоя во дворе, честил негра, пока тот не ушел в дом и не захлопнул дверь, а Минк уже в пустом дворе все честил и негра, и его семейство, притихшее в хижине, но потом выдохся и повел корову домой за три мили.

И ему пришлось держать нестельную, неплодную корову, пока она не выщипала все его тощее пастбище, а потом пришлось ее кормить тощими кормами в сарае весь конец лета и всю осень, так как фермеры договорились не выпускать скот, пока не уберут урожай. Значит, до



самого ноября ему пришлось ее держать. То есть подошел ноябрь, прежде чем ее можно было пустить на зимний выпас. Да и то, чтобы приманивать корову к вечеру домой, приходилось отнимать понемножку корм у свиней, которых он откармливал на зиму, а потом она пропала на три или четыре дня и в конце концов нашлась на пастбище у Джека Хьюстона с его породистыми быками.

По правде говоря, он, со свернутой веревкой в руках, уже дошел до просеки, ведущей к дому Хьюстона, и вдруг, сам того не сознавая, даже не остановившись и не замедлив шаг, круто повернул и пошел домой, торопливо запихивая свернутую веревку за пазуху, чтобы ее никто не увидел, но он не пошел в некрашеную, нечиненую хижину, где жил, а стал искать, где бы посидеть подумать, и, присев на бревно при дороге, осознал наконец со всей отчетливостью то, что мелькнуло у него в мыслях.

Если он сейчас оставит там эту никчемную корову, ей не только будет где перезимовать, она еще перезимует во сто, в тысячу раз лучше, чем у него. Корова не только перезимует у Хьюстона (а Хьюстон не только так богат, что разводит и откармливает быков на мясо, он так богат, что держит негра, который одно знает – кормить и чистить этих быков, негра, для которого Хьюстон устроил жилье куда лучше того, где жил он, Минк, белый человек, с женой и Двумя дочками), но, кроме того, когда весной он потребует обратно корову, она наверняка будет стельная, да еще от породистого хьюстоновского быка, и, значит, у них не только будет свежее молоко, но и теленок выйдет породистый, ценный, тогда как отпрыск того захудалого негритянского быка не стоил бы ровно ничего.

Разумеется, ему придется отвечать на всякие вопросы: Французова Балка – поселок маленький, слишком маленький, тут человек не может делать, что хочет, и уж никак не может достать себе все, что захочется. И четырех дней не прошло. Началось с лавки Уорнера: каждый день он проходил мимо, заворачивая к себе, так что все его видели и в конце концов решили выяснить, в чем дело. Кто-то спросил – он не помнил кто, да это и неважно:

– Ну как, нашел свою корову?

– Какую корову? – переспросил он.

А тот сказал:

– Джек Хьюстон велел тебе забрать твою животину с его выгона, говорит, надоело ее кормить.

– Вот оно что, – сказал он. – А корова уже не моя. Я эту корову еще прошлым летом продал одному парню по фамилии Гаури, он из Каледония-Чепел.

– Ну и хорошо, – сказал тот, – потому что, будь я на твоем месте и пасись моя корова на выгоне у Джека Хьюстона, я бы взял веревку и сам бы постарался не заметить, как забрал ее, и, уж конечно, постарался бы, чтоб Джек Хьюстон не заметил. Я бы, пожалуй, даже подходить к нему не стал, побоялся бы и спасибо сказать.

Весь поселок слишком хорошо знал Джека Хьюстона: сидит дома, угрюмый и хмурый, всегда один, с того дня, как жеребец убил его жену четыре года назад. Будто до него никто не терял жену, хоть, может, по какой-то непонятной причине некоторые мужья и не хотят от своих жен избавиться. Сидит угрюмый, хмурый, один в большом доме, и при нем только двое слуг-негров, мужчина и женщина-стряпуха, да еще жеребец и пес, громадный волкодав, такой же упрямый, наглый и нелюдимый, как сам Хьюстон, а тот, нелюдим проклятый, даже не понимает, какой он счастливчик: до того богат, что может не только завести себе жену, чтоб ныла и придиралась и вытаскивала из кармана последний доллар, нет, он до того богат, что может обойтись и без жены, если захочет, до того богат, что может нанять себе женщину, чтоб готовила ему еду, – и жениться на ней не надо. Так богат, что может нанять негра, чтоб тот вместо него вставал на рассвете, в холоде, и выходил, в сырость и дождь, кормить не только его породистых быков – он срывал за них самый жирный куш только потому, что мог не торопиться их продавать, – но и этого проклятого жеребца, и даже эту чертову собаку, которая бежала рядом

с конем, когда они носились по дорогам и заставляли человека, которому всю жизнь приходилось топтать на своих на двоих, прыгать с дороги в кусты, чтоб этот сволочной жеребец не разmozжил ему башку кованым копытом, не то придется ему лежать в канаве, и этот сволочной пес загрызет его прежде, чем Хьюстон успеет кликнуть его.

Ладно, раз Хьюстон так дерет нос, что ему даже нельзя сказать спасибо, он, Минк, не станет ему навязываться без приглашения. Дело не в том, что он никому не хочет быть обязан. Прошла неделя, потом прошел месяц, уже и рождество прошло, настала холодная, сырая, унылая зима. Каждый день к вечеру в кожанке, заштопанной проволокой и залатанной кусками автомобильной шины, – единственной своей верхней одежде, натянутой на заплатаанный старый бумажный комбинезон, – он шел по грязной дороге в унылом меркнувшем свете заката смотреть, как породистое стадо Хьюстона вместе с его жалкой животиной двигалось, ничуть не торопясь, домой в стойла, которые были куда теплее и лучше защищены от непогоды, чем та лачуга, где он жил, в стойла, где скотину кормил специально для этого нанятый негр: на нем и одежда куда теплее, чем у Минка и у его семейства, и он шептал проклятия себе под нос, в облако морозного дыхания, проклиная негра за то, что его черную кожу греет хорошая одежда, лучше, чем у него, у белого, проклиная сытный корм, который давали скотине, а не людям, хотя его собственная корова тоже ела со всеми вместе, и злее всего проклиная ничего не подзревавшего белого человека, чье богатство всему виной, а главное, проклиная то, что мешало ему отомстить, отплатить, – а он считал это естественной справедливостью и своим неотъемлемым правом, – отомстить сразу, одним махом, а тут приходилось ожидать, пока корма постепенно не превратятся в живой вес, да еще нельзя было предвидеть и предсказать, когда корова подпустит быка, а потом пойдут долгие девять месяцев до отела; он проклинал себя за то, что может добиться справедливости только таким долгим и бездеятельным ожиданием.

Вот от чего он мучился. От ожидания. И не только от страха, что отдаляется исполнение надежд, не только от обиды, что простое справедливое дело отодвигается, откладывается, а от сознания, что даже в тот час, когда удар падет "а Хьюстона, это будет стоить ему, Минку, восемь долларов наличными: эти восемь долларов должны служить доказательством, что воображаемый покупатель коровы как будто заплатил их Минку, чтобы вранье насчет продажи коровы показалось правдоподобным; весной, когда Минк придет требовать свою корову, эти доллары придется отдать Хьюстону в залог того, что до этой минуты он сам верил, будто корова продана или, во всяком случае, оценена в восемь долларов, – и он придет к Хьюстону и расскажет, как покупатель пришел к нему, Минку, сегодня утром, заявил, что корова удрала от него еще в ту ночь, когда он ее купил и привел домой, и потребовал обратно свои восемь долларов, а когда он все это расскажет Хьюстону, тот не станет так задаваться и презирать его, а поселок не будет так любопытничать, и он, Минк, всем докажет, что истратил целых шестнадцать долларов, чтобы вернуть свою корову.

В этом и была главная обида: жаль восьми долларов. То, что за восемь долларов он не мог бы даже прокормить корову зимой, а не то что откормить ее до той прибавки веса, которую он видел своими глазами, это в расчет не принималось. Важно, что надо было отдать Хьюстону, который даже и не заметит, сколько корму съела корова, ненужные ему восемь долларов, а на них он, Минк, мог бы купить к рождеству галлон виски, да еще на доллар-другой чего-нибудь для жены и дочек, проевших ему голову из-за тряпок.

Но выхода не было. И вместе с тем он даже гордился, что это его возмущает. Не такой он мелочный, и жалкий, и ничтожный, чтобы покорно принимать все обиды только потому, что пока нельзя найти выход. Больше того: такая несправедливость еще сильнее разжигала его злобу, его возмущение. Значит, ему придется унижаться и даже пресмыкаться, когда он пойдет за коровой, придется врать впустую, только за честь отдать восемь долларов, необходимых ему самому, скопленных ценою жертв, притом отдать человеку, которому они вовсе не нужны, он и не заметит, если их получит, и даже не знает, что ему их собираются отдать.

И, наконец, пришла та минута, тот день в конце зимы, когда по местному обычаю владельцы загоняли скот, свободно гулявший с осени по омертвелым полям, чтобы землю можно было распахать и засеять; и в тот день, вернее, вечер, он дождался, пока его корове в последний раз зададут корм вместе со всем хьюстоновским стадом, и только тогда подошел к загону с перекинутой через руку истертой веревкой и с жалким комком истертых долларовых бумажек и горстью никелей и центов в кармане комбинезона; но ему не пришлось ни унижаться, ни пресмыкаться, потому что в загоне был только негр с вилами, а богатый хозяин сидел дома, в теплой кухне, со стаканом пунша, сваренного не из вонючего тошнотворного самогона, который он, Минк, мог бы купить на свои восемь долларов, если б их не надо было отдавать, а из доброго красного марочного виски, заказанного в Мемфисе. Не пришлось ни пресмыкаться, ни унижаться, только сдержанно, как полагалось белому человеку, сказать негру, обернувшись к нему в дверях хлева:

– Здорово. Оказывается, моя корова у вас? Надень-ка на нее веревку, я ее заберу, чтоб тут не мешала.

Но негр посмотрел на него и ушел через конюшню к дому, не подошел, не взял веревку, хотя он, Минк, этого и не ждал, а сначала пошел спросить белого человека, что надо делать. Именно этого он, Минк, и ожидал, опираясь потрескавшимися, красными от холода руками, вылезавшими из-под слишком коротких обтрепанных рукавов, на верхнюю жердину белой загородки. Да, сидел Хьюстон со стаканом пунша из доброго красного виски, без сапог, в одних носках, грел ноги перед ужином, а теперь ему придется с бранью спустить ноги и снова натянуть холодные, мокрые, грязные резиновые сапоги и выйти к загону. Так Хьюстон и сделал; в грохоте кухонной двери, в скрипе и чавканье резиновых сапог по двору слышалось недоумение и ярость. Он прошел через хлев, негр – за ним, шагах в десяти.

– Здорово, Джек, – сказал Минк, – жаль, что вас пришлось побеспокоить в такой холод, в сырость. Ваш негр и сам мог бы справиться. А я только сегодня узнал, что у вас моя корова перезимовала. Пусть ваш негр наденет на две веревку, я ее уведу, чтоб не мешалась тут.

– Я думал, ты продал корову Нэбу Гаури, – сказал Хьюстон.

– И продал, – сказал Минк. – А нынче утром Нэб подъехал на муле и говорит, что корова удрала от него в ту самую ночь, как он ее привел домой, с тех пор он ее и не видел и отобрал у меня восемь долларов, что дали мне за нее. – И он полез в карман, сжимая в кулаке комок истертых бумажек и мелочь. – Ну вот, раз цена этой корове восемь долларов, значит, я вам столько и должен за зимовку. Теперь, значит, ей цена все шестнадцать долларов, хоть ей это и невдомек. Вот. Берите ваши денежки, и пусть ваш негр накинет на нее эту веревку, а я...

– Эта корова осенью и восьми долларов не стоила, – сказал Хьюстон. – А теперь она стоит куда больше. И съела она моих кормов больше, чем на шестнадцать долларов. Уж не говорю, что мой молодой бык покрыл ее на прошлой неделе. Верно ведь, Генри, на прошлой неделе? – спросил он негра.

– Да, сэр, – сказал негр. – В прошлый вторник. У меня записано.

– Сказали бы вы мне раньше, не пришлось бы вашему быку стараться, да и вашему негру с его вилами тоже, – сказал Мни к. И обратился к негру: – Эй, бери веревку...

– погоди, – сказал Хьюстон и тоже полез в карман. – Ты сам назначил цену корове – восемь долларов. Ладно, я ее покусая.

– А вы сами только что сказали, что она подорожала, – сказал Минк. – Я и сам собирался доплатить вам. А за нее я и шестнадцати долларов не возьму, не то что восемь. Так что берите ваши денежки. И если вашему негру трудно надеть на нее веревку, давайте я сам ее заберу. – И он уже стал перелезать через загородку.

– погоди, – сказал Хьюстон. Он спросил негра: – Сколько она, по-твоему, сейчас стоит?

– Да, наверно, долларов тридцать, – сказал негр, – а то и все тридцать пять.

– Слыхал? – сказал Хьюстон.

– Нет, – сказал Минк, влезая на загородку, – я негров не слушаю. Я им приказываю. А если он не хочет обрывать корову, велите ему не мешать мне.

– Не лезь через загородку, Сноупс, – сказал Хьюстон.

– Так, так, – сказал Минк, перекинув одну ногу через верхнюю перекладину и сжимая веревку красной, как мясо, рукой. – Еще скажете, что вы так и привыкли – покупать корову с револьвером в руках. А может, вы, когда выходите сеять хлопок или кукурузу, тоже с собой револьвер носите?

Это была картина: Минк с перекинутой через перекладину ногой, Хьюстон у загородки с револьвером, опущенным книзу, а негр стоит не двигаясь, ни на кого не смотрит, прищурился, только белки глаз чуть видны.

– Предупредили бы меня заранее, я бы, может, тоже револьвер прихватил.

– Хорошо, – сказал Хьюстон. Он бережно положил револьвер на столб загородки около себя. – Брось веревку. Перелезай через забор около столба, где стоишь. Я отойду вон к тому столбу, а ты считай до трех – посмотрим, кто его захватит, и начнем торги.

– А лучше пускай негр считает, – сказал Минк. – Ему только и надо сказать «три!». У меня-то негра при себе нету. А, как видно, человеку без негра и без револьвера не обойтись, когда с вами рядишься насчет скотины.

Он перекинул ногу обратно и спрыгнул на землю перед загородкой.

– Так что я, пожалуй, схожу в лавку, поговорю с дядей Билли и с констеблем. Видно, надо было мне с самого начала к ним пойти, а не топать сюда по такому холоду. Я бы попросил оставить тут веревку, не тащить же ее домой, да вы, пожалуй, потом спросите с меня долларов тридцать пять за хранение, – как видно, это ваша крайняя цена за все чужое, что попадает к вам на участок. – Уже уходя, он сказал: – Ну, пока! А если будете продавать скот по восемь долларов, смотрите, чтоб вам фальшивые денежки не всучили.

Он шагал довольно твердо, но в такой пронзительной злобе, что сначала ничего перед собой не видел, и в ушах стоял страшный звон, будто кто-то разрядил двустволку прямо у него над ухом. В сущности, он и свою ярость предчувствовал, и теперь в одиночестве, без людей, лучше всего можно было дать ей выветриться. Главное, ему было ясно, что он заранее предвидел все, как оно потом и вышло, и теперь надо было только собраться с мыслями. В душе он предчувствовал, что его злая судьбина непременно изобретет какую-нибудь каверзу, и то, что ему, очевидно, придется заплатить еще два с половиной доллара мировому судье Уорнеру за бумагу, которую констебль предъявит Хьюстону, отбирая у него корову, ничуть его не удивило: просто снова вмешались *Они*, снова *Они* испытывают, проверяют, сколько он может вынести и выдержать.

Так что, в сущности, его не удивило и то, что произошло потом. В сущности, он сам был виноват, он просто недооценил *Их*: ему казалось, что отнести восемь долларов Хьюстону, накинуть веревку на корову и увести ее домой – дело настолько простое, настолько мелкое, что *Они* нипочем вмешиваться не станут. Но тут он ошибся: избавиться от *Них* было не так-то просто. Уорнер наотрез отказался выдать бумагу, наоборот, два дня спустя семь человек, считая и негра, – он сам, Хьюстон, Уорнер, констебль и два опытных торговца скотом, – стояли у загородки хьюстоновского загона; и негр провел корову перед экспертами.

– Ну, как? – спросил наконец Уорнер.

– Я бы дал тридцать пять, – ответил первый торговец.

– А если ее покрыл породистый бык, я бы набавил до тридцати семи, даже до тридцати семи с половиной, – сказал второй.

– Может, дали бы и сорок? – спросил Уорнер.

– Нет, – сказал второй, – а вдруг она не стельная?

– Потому-то я бы тридцати семи с половиной не дал, – сказал первый.

– Ладно, – сказал Уорнер, высокий, тощий, узкобедный человек с густыми усами, точь-в-точь как у его покойного отца-кавалериста из форрестовского отряда. – Считайте тридцать семь с половиной. Значит, делим пополам. – Он посмотрел на Минка. – Плати Хьюстону восемнадцать долларов и семьдесят пять центов и можешь забирать свою корову. Да ведь у тебя, наверно, нету восемнадцати долларов и семидесяти пяти центов?

Он стоял спокойно, положив докрасна обветренные руки, торчащие из рукавов, на верхнюю жердину загородки, в глазах у него совсем потемнело, в ушах стоял звон, будто кто-то разрядил двустволку прямо у него над головой, но на его лице застыло неопределенное кроткое выражение, почти похожее на улыбку.

– Нету, – сказал он.

– Может быть, его родич, Флем, даст ему денег? – спросил второй скотопромышленник. Никто не стал ему отвечать, даже не напомнил, что Флем все еще в Техасе, куда он уехал с женой на медовый месяц в августе сразу после свадьбы.

– Что же, пускай отработает, – сказал Уорнер. Он обратился к Хьюстону: – Есть у вас для пего какая-нибудь работа?

– Я собирался ставить еще одну загородку, – сказал Хьюстон. – Посчитаю ему по пятьдесят центов за день. Пусть поработает тридцать семь дней и еще полдня с рассвета до обеда, пускай копает ямы для столбов и проволоку тянет. Только как быть с коровой? Мне ее держать или же Квик (Квик был констебль) ее заберет?

– Хотите, чтоб Квик ее взял? – спросил Уорнер.

– Нет, – сказал Хьюстон. – Она тут так долго пробыла, что еще, чего доброго, заскучает. И потом, если она тут останется, Сноупс может ее каждый день видеть, а всегда веселей работать, когда знаешь, за что работаешь.

– Ну, ладно, ладно, – торопливо сказал Уорнер. – Значит, договорились. Хватит с меня болтовни.

Вот так ему и пришлось работать. Но он гордился, что никогда, ни за что он с этим не примирится. Даже если придется потерять корову, даже если корову вообще не брать и, так сказать, успокоиться. А это – то есть отказаться от коровы – было проще простого. Больше того: он мог бы получить восемнадцать долларов семьдесят пять центов, если бы пошел на это, и тогда с теми восемью долларами, от которых отказался Хьюстон, у него набралось бы почти двадцать семь долларов, а он и не помнил, когда держал в руках такую сумму, потому что даже после осенней продажи хлопка, за вычетом арендной платы Уорнеру и платы за товар, забранный в его лавке, у него еле-еле остались в наличности те восемь – десять долларов, на которые он напрасно надеялся выкупить корову у Хьюстона.

В сущности, сам Хьюстон предложил ему этот выход. Уже второй или третий день он копал ямы и ставил в них тяжеленные столбы. Хьюстон подъехал на своем жеребце и остановился, глядя на него. Но он не прервал работу и даже не поднял глаз.

– Эй! – сказал Хьюстон. – Посмотри на меня!

Он поднял голову, продолжая работать. Хьюстон уже протянул руку, и он, Минк, увидел в ней деньги, как насчитал Уорнер: восемнадцать долларов семьдесят пять центов.

– Вот они, бери. Бери и уходи домой, забудь про корову.

Но он уже опустил глаза, взвалил на плечо столб, который казался тяжелее и больше его самого, поставил в яму, засыпал и утрамбовал землю черенком лопаты и только слышал, как жеребец повернулся и поскакал прочь. Потом настал четвертый день, и снова он услышал, как подскочил и остановился жеребец, но даже не поднял глаз, когда Хьюстон его окликнул:

– Сноупс. – И опять: – Сноупс. – А потом он сказал: – Минк, – а он, Минк, не поднял глаз и даже не приостановился, а только сказал:

– Ну, слышу.

– Брось. Тебе надо свой участок пахать, сеять. Тебе на жизнь заработать надо. Ступай домой, засеи участок, потом можешь вернуться.

– Времени у меня нет на жизнь зарабатывать, – сказал он, не останавливаясь. – Надо корову вернуть домой.

А на следующее утро подъехал уже не Хьюстон на своем жеребце, а сам Уорнер в пролетке. Правда, он, Минк, не знал, что Уорнер вдруг испугался, как бы не нарушился мир и покой поселка, который он держал железной рукой ростовщика при помощи закладных и векселей, спрятанных в сейфе у него в лавке. А когда он, Минк, поднял глаза, он увидел деньги в сжатом кулаке Уорнера, лежавшем на коленях.

– Я записал эти деньги на твой счет в лавке, – сказал Уорнер. – Сейчас проезжал твой участок. Ты ни одной борозды не вспахал. Собирай-ка инструмент, бери деньги, отдай их Джеку, возьми эту корову, будь она проклята, и ступай домой пахать.

Уорнер – дело другое, для него он остановился и даже оперся на лопату.

– А вы слышали, чтоб я жаловался на это самое ваше решение насчет коровы? – спросил он.

– Нет, – сказал Уорнер.

– Так не мешайте мне, занимайтесь своим делом, а я займусь своим, – сказал он.

И тут Уорнер соскочил с пролетки, – хоть он и был так стар, что должники, подлизываясь к нему, звали его «дядя Билл», но все еще ловок, – одним прыжком, с вожжами в руке и кнутом в другой.

– А, черт тебя подери! – крикнул он. – Собирай инструмент и катись домой. К вечеру я вернусь, и, если увижу, что ты не начинал пахоту, я вышвырну все твои манатки на дорогу и завтра же утром сдам кому-нибудь твою лачугу.

И он, Минк, посмотрел на него с тем же неопределенным кротким выражением лица, почти что с улыбкой.

– Это на вас похоже, наверно, вы так и сделаете! – сказал он.

– И сделаю, будь я проклят! – сказал Уорнер. – Катись! Ну! Сию минуту!

– Что ж, придется идти, – сказал он. – Значит, это будет второе решение судьбы по нашему делу; ничего не попишешь, всякий порядочный человек закон исполняет.

И он пошел было прочь.

– Эй, погоди, – сказал Уорнер, – возьми деньги!

– Зачем? – сказал Минк и пошел дальше.

К концу дня он вспахал почти целый акр. Поворачивая плуг на новую борозду, он увидел, что по дороге едет пролетка. На этот раз в ней сидели двое – Уорнер и констебль Квик, и пролетка ехала шагом, потому что к задней оси была привязана корова. Но торопиться он не стал, довел и эту борозду до конца, потом выпряг мула, привязал его к забору и только тогда подошел к пролетке, в которой сидели двое, глядя на него.

– Я заплатил Хьюстону восемнадцать долларов, вот твоя корова, – сказал Уорнер. – И если я еще раз услышу, что ты или какая-нибудь твоя живность забралась на землю Джека Хьюстона, я тебя упрячу в тюрьму.

– А как же семьдесят пять центов? – сказал он. – Куда же эти шесть монет девались? На корову вышло судебное решение, не могу я ее взять, пока судебное решение не выполнено.

– Лон, – сказал Уорнер констеблю ровным, почти что мягким голосом, – отведи корову вон в тот загон, сними с нее к чертовой матери веревку и садись обратно в пролетку.

– Лон, – сказал Минк таким же мягким и таким же ровным голосом, – если ты поставишь эту корову в мой загон, я возьму ружье и пристрелю ее.

Больше он на них и не смотрел. Он вернулся к мулу, отвязал его от загородки, запряг и повел следующую борозду, идя спиной к дому и к дороге, так что только на повороте он на миг увидел медленно ползущую пролетку, за которой тащилась корова. Он упорно пахал дотемна,

потом поужинал елким салом и лепешками с патокой, из подозрительно затхлой муки, причем все, что он ел, принадлежало Биллу Уорнеру, пока он, Минк, не соберет и не продаст будущей осенью еще не посеянный хлопок.

Через час, захватив керосиновый фонарь, чтобы видно было, где копать, он снова пошел строить загородку Хьюстону. Он ни разу не прилег, он даже не остановился, хотя проработал с рассвета весь день, и, когда снова занялась заря, оказалось, что он проработал без сна целые сутки: взошло солнце, и он вернулся на свое поле, к мулу и плугу, и только в полдень прервал пахоту на обед, потом снова вернулся в поле, снова пахал, или так ему казалось, пока, очнувшись, он не увидел, что лежит в последней борозде под задранными рукоятками ушедшего в землю плуга и неподвижный мул все еще стоит в упряжке, а солнце медленно заходит.

Потом снова ужин, похожий и на вчерашний ужин, и на сегодняшний завтрак, и снова, неся зажженный фонарь, он прошел через выгон Хьюстона туда, где осталась его лопата. Он даже не заметил, что Хьюстон сидит на гряде приготовленных столбов, пока Хьюстон не встал, держа ружье наперевес.

– Уходи! – сказал он. – И не смей приходить на мой участок после захода солнца. Хочешь dokonать себя – доканывай, только не здесь. Уходи отсюда. Может, я не могу запретить тебе отрабатывать за эту самую корову днем, но запретить работать по ночам я имею право.

Но он и это мог выдержать. Потому что он знал, как это бывает. Он все узнал на собственной шкуре, сам себя научил, потому что другого выхода не было: он понял, что человек все может вынести, если он спокойно и просто откажется что-нибудь принять, признать, чему-то поддаться. Теперь он даже мог спать по ночам. И не потому, что у него было время выспаться, а потому, что ему стало спокойнее, не надо было торопиться, спешить. Он допахал арендованный участок, взрыхлил борозды, пока стояла хорошая погода, а в непогожие дни кончал строить загородку Хьюстону, ведя счет каждому отработанному дню, каждым отработанным пятидесяти центам на выкуп коровы. Но никакой спешки, никакой гонки, наконец пришла весна, и земля потеплела, готовая принять посев, и он увидел, что придется потерять много времени, не ходить на постройку загородки, потому что надо заняться севом, он отнесся к этому спокойно, взял семена хлопка и пшеницы в лавке Уорнера и засеял свой участок быстрее, чем обычно, потому что надо было снова идти делать загородку и в собственном поте растворить еще полдоллара. Он и своим терпением гордился: только не сдаваться, потому что так он мог победить *Их*: конечно, *Они* могут в какую-то минуту пересилить его, но никто, ни один человек не способен ждать дольше, чем он умел ждать, зная, что только ожидание поможет, поспособствует, послужит ему.

И наконец наступил вечер того дня, когда он мог отбросить терпение вместе с лопатой, носилками и остатком проволоки. Хьюстон тоже, наверно, знал, что наступил последний день. Похоже, что Хьюстон весь день ждал, когда он подойдет по тропке к загону и в ту минуту, как солнце сядет за деревьями на западной опушке, заберет корову; похоже, что Хьюстон весь день с самого рассвета сидел у окна кухни, чтобы видеть, как он, Минк, придет на работу в этот последний день и принесет веревку, чтобы отвести корову домой. И, в сущности, весь этот последний день, копая последние ямы и вколачивая в них не колья, а последнюю обиду, которую *Они* нанесли ему, используя Уорнера как орудие, чтобы испытать его, посмотреть, сколько же он еще может выдержать, он представлял себе, как Хьюстон понапрасну шныряет вдоль дороги, обыскивая каждый куст, каждую канавку, чтобы найти, где же он спрятал веревку.

А он ее, веревку, даже не принес с собой, он работал упорно, пока солнце совсем не село и никто уже не мог бы сказать, что полный день не закончен, не отработан, и только тогда собрал лопату, и кирку, и носилки и отнес их к загону, аккуратно сложив их в углу у загородки, где и негр, и Хьюстон, и кто угодно, кому придет охота поглядеть, обязательно их увидят, а сам при этом даже ни разу не взглянул в сторону хьюстоновского дома, ни разу даже не взглянул

на корову, про которую теперь никто не мог сказать, что она не его собственная, – а просто прошел по дороге две мили до своей лачуги.

Он поужинал спокойно, неторопливо, даже не прислушиваясь, ведут ли к нему корову и кто ее на этот раз ведет. Может, ее даже приведет сам Хьюстон. Впрочем, если подумать, Хьюстон похож на него. Хьюстона тоже запугать нелегко. Пусть сам Уорнер спохватится, пусть-ка он позаботится, пришлет констебля и вернет ему корову теперь, когда, по решению судьи, отработано все до последнего цента, и он, Минк, жует свои лепешки с салом и пьет кофе с тем же самым кротким выражением лица, похожим на улыбку, представляя себе, как Квик идет по дороге с веревкой, спотыкаясь и бранясь, оттого что ему приходится таскаться по темноте, хотя ему лучше бы сидеть дома, сняв сапоги, и ужинать, и Минк про себя уже повторял, придумывал, как он ему скажет: «Я отработал восемнадцать с половиной суток. А сутки считаются от зари до зари, значит, и нынешний день кончится только завтра, на рассвете. Так что отведи-ка ты эту корову туда, куда вы с Биллом Уорнером ее поставили восемнадцать с половиной суток назад, а завтра утром я сам ее заберу. Да напослани этому негру, пусть покормит ее пораньше, чтоб мне не ждать».

Но он ничего не услышал. И только тогда он понял, что ждал корову, рассчитывал, что ее, так сказать, доставят ему на дом. Его вдруг прошибло, пронзило страхом, он в ужасе понял, как непрочно спокойствие, в котором он, как ему казалось, жил с Той ночи, два месяца назад, когда он столкнулся с Хьюстоном у загона и тот пригрозил ему револьвером, понял, до чего хрупко то, что ему казалось спокойствием, и как ему теперь надо быть постоянно начеку, так как, очевидно, любой пустяк может снова отшвырнуть его назад, к той минуте, когда Билл Уорнер сказал, что надо отрабатывать восемнадцать долларов семьдесят пять центов, из расчета пятьдесят центов за день, только для того, чтобы вернуть свою собственную корову. Теперь придется выйти на свой выгон и поглядеть, не поставил ли Квик корову потихоньку, а потом скрылся, удрал: теперь придется зажигать фонарь и выходить в темноту – искать то, чего он наверняка не найдет. Мало того, придется объяснять жене, куда он идет с фонарем. И, конечно, пришлось ей ответить грубым, непристойным, коротким словом, когда она спросила: «Ты куда идешь? Разве Джек Хьюстон тебя не предупредил?» – да еще прибавить, не от грубости, а оттого, что она к нему лезла:

– Разве что ты выйдешь да вместо меня...

– У, бесстыдник! – крикнула она. – При девчонках такие слова!

– Ну да! – сказал он. – А то, может, их пошлешь? Может, они вдвоем за одного взрослого сойдут. Хотя жрут они так, что, наверно, и одна справится.

Он пошел к хлеву. Конечно, он так и знал, коровы там не было, и он обрадовался. Все это, – ведь он заранее знал, что если кто-нибудь из них привел корову, то все равно надо выйти и проверить, – все это пошло на пользу, предупредило его (хотя ничего худого еще не случилось), какую штуку *Они* норовят ему подстроить. Хотят швырнуть его, пнуть, сбить с ног и тем погубить окончательно: *Они* не могли побороть его ничем – ни деньгами, ни нуждой, не могли истощить его долготерпение. Только одним они могли бы побороть его: захватить врасплох, отшвырнуть назад, в то состояние свирепой, слепой ярости, когда он терял рассудок.

Но теперь все было в порядке. Он даже выгадал: завтра утром, когда он возьмет веревку и пойдет за коровой, не Квик, а сам Хьюстон его спросит: «Чего же ты не пришел вчера вечером? Твой последний, восемнадцати-с-половиной-долларовый день кончился вчера к вечеру». И он ответит самому Хьюстону: «День считается от зари до зари. Значит, этот восемнадцати-с-половиной-долларовый день кончился сегодня утром, если только этот ваш хворый негр уже успел покормить мою корову».

Всю ночь он спал без просыпа. Потом позавтракал и на рассвете не торопясь пошел по дороге к Хьюстонову загону с мотком веревки на руке, остановился, облокотясь на верхнюю жердину, пока Хьюстон не подошел и не остановился футах в десяти от него.



– С тобой расчет не закончен, – сказал Хьюстон. – Тебе еще два дня отработывать.

– Так, так, – сказал он негромко и мирно, почти что ласково. – Конечно, человек, у которого есть загон, полный породистых быков и телок, не говоря уж о новой загородке, которую ему даром выстроили ни за что ни про что, он, конечно, может и ошибиться насчет какой-то мелочишки, каких-то долларов и центов, особенно когда их и всего-то восемнадцать семьдесят пять, не больше. А у меня только и есть что восьмидолларовая корова, я-то полагал, что ей восемь долларов красная цена. И не так я богат, чтоб не уметь сосчитать до восемнадцати с половиной.

– Да я не про эти восемнадцать, – сказал Хьюстон. – Я говорю...

– И семьдесят пять центов, – сказал Минк.

– ...про девятнадцатый. Ты должен еще доллар.

Он не двинулся с места, не переменялся в лице, он только сказал:

– Какой еще доллар?

– Штрафной, – сказал Хьюстон. – Закон говорит, что если кто приютит бродячую скотину, а хозяин не придет за ней до вечера в тот же день, он должен заплатить один доллар штрафу за ее содержание.

Он стоял не шевелясь, даже рука не сжала свернутую веревку крепче.

– Так вот почему вы так поторопились в тот день и не дали Лону отвести ее к себе, – сказал он. – Лишний доллар захотели получить.

– Черт с ним, с лишним долларом, – сказал Хьюстон, – и к черту Лона. Пусть бы забирал. А держал я ее у себя, чтобы тебе не ходить лишнего до Лона. Не говоря уже о том, что я ее каждый день кормил, а Лон Квик, наверно, не стал бы. Вон там и кирка, и лопата, и носилки, в углу, куда ты их вчера поставил. Можешь когда угодно...

Но он уже повернулся, уже пошел спокойным ровным шагом со свернутой веревкой на руке по дорожке к шоссе, но не домой, а в противоположную сторону, к лавке Уорнера, за четыре мили отсюда. Он шел в это ясное, ласковое молодое летнее утро меж зеленеющих перелесков, где уже давно отцвел шиповник, терн и дикая слива, меж засеянных полей, где густо и крепко поднялись хлопок и кукуруза, но все же не так густо, как на его маленьком участке (видно, хозяева этих участков работали далеко не так спокойно и неторопливо, как, по его представлению, работал он); спокойно шагал он по свежей и спелой земле, до краев налитой жизнью, молнией мелькали птицы в гомоне и гаме, зайчата шныряли под ногами, их тонкие тельца казались двухмерными, если не считать быстроту третьим измерением, – шагал к лавке Уорнера.

Трухлявая деревянная веранда над трухлявым деревянным крыльцом, наверно, сейчас пустовала. Мужчины в комбинезонах, – закончив дела, они обычно сидели весь день на корточках или стояли, прислонясь к стенке, на улице или в самой лавке, – должно быть, сегодня ушли в поле: копают канавы, чинят загородки или ведут первую прополку либо вручную, либо культиватором. Да и в лавке было пусто. Он подумал: «Был бы Флем здесь...» – зная, что Флема тут нет, ему, Минку, больше чем кому другому было известно, что свадебное путешествие продлится, пока им можно будет вернуться домой и объявить всем в поселке, что ребенок, которого они привезут с собой, родился уж никак не раньше, чем в мае месяце. Впрочем, не то, так другое: ведь отсутствие его родича, когда он так был нужен, тоже только проверка, издевка, глумление: снова *Они* испытывают его не затем, чтобы посмотреть, переживет ли он все это, – в этом *Они* не сомневались, – а просто ради удовольствия видеть, как он вынужден делать лишнее, бессмысленное, то, что никому не нужно.

Но и Уорнера тоже в лавке не было. Этого Минк не ждал. Он был уверен, что *Они* не упустят возможности до отказа набить лавку людьми, которым место в поле, на работе, – пускай все эти лентяи и бездельники слушают развесив уши, о чем он пришел поговорить с Биллом

Уорнером. Но и Уорнера не было, в лавке оказался только Джоди Уорнер и Лэмп Сноупс – приказчик, которого Флем поставил за себя, когда прошлым летом взял расчет и женился.

– Ежели он поехал в город, он до ночи не вернется, – сказал Минк.

– А он не в городе, – сказал Джоди, – он поехал смотреть мельницу на Панкин-Крик. Говорил, к обеду вернусь.

– Он до ночи не приедет, – сказал Минк.

– Как хочешь, – сказал Джоди. – Можешь идти домой, придешь завтра.

Выбора не было. Конечно, он мог бы прошагать пять миль до дому и потом пять миль обратно, не торопясь, до полудня, если бы ему хотелось пройтись. Либо мог постоять у лавки до полудня, но дождался бы старика Уорнера только в ужин, потому что Они ни за что не упустили бы случай заставить его, Минка, потерять весь рабочий день. А это значило, что придется полночи копать ямы для хьюстоновской загородки, потому что ему нужно было отработать два дня к послезавтра, к полудню, чтобы закончить то, что ему необходимо было сделать и для чего надо было еще съездить в город.

А не то он мог бы вернуться домой, поесть, а потом опять прийти сюда, – день-то все равно уже пропал. Но *Они*, конечно, и такой случай не упустят: стоит ему отойти, как пролетка вернется с Панкин-Крик и Билл Уорнер вылезет из нее. Поэтому он остался ждать в лавке до полудня, и, когда Джоди ушел домой поесть, Лэмп отрезал ломоть сыру и отсыпал пригоршню галет.

– Может, поешь? – сказал Лэмп. – Билл и не заметит.

– Нет, – сказал Минк.

– Ладно, запишу за тобой, если тебя совесть заедает из-за одного Уорнера гроша.

– Я есть не хочу, – сказал Минк. Но одну вещь он мог сделать, одну штуку приготовить, благо это было недалеко. И он пошел туда, в одно заранее намеченное место, и сделал то, что надо, – ведь он заранее знал, что ему скажет Уорнер, – и потом вернулся в лавку, и действительно, к самому концу дня, так, что день этот уже окончательно пропал, подъехала пролетка, и Билл Уорнер вылез из нее и стал, как обычно, привязывать лошадь к столбу, когда к нему подошел Минк.

– Ну что? – сказал Уорнер. – Что там еще?

– Мне бы кое-что насчет закона разъяснить надо, – сказал он. – Насчет закона про оплату содержания.

– Что, что? – переспросил Уорнер.

– Вот именно, – сказал он спокойно и негромко, с невозмутимым, мирным лицом, почти с улыбкой. – Я-то думал, что уже к вечеру отработал те тридцать семь с половиной дней по полдоллара за день. А сегодня утром пошел забирать свою корову, и оказалось, что я еще не отделался, должен еще два дня штрафных работать, за содержание.

– Сто чертей! – сказал Уорнер. Он с проклятием надвинулся на низкорослого Минка. – Это тебе Хьюстон сказал?

– Вот именно, – сказал Минк.

– Сто чертей! – повторил Уорнер. Он вытащил из заднего кармана громадный потертый кожаный бумажник, перетянутый ремнем, как чемодан, и вынул оттуда долларовую бумажку. – Бери, – сказал он.

– Значит, и вправду в законе сказано, что я должен уплатить еще доллар, прежде чем мне отдадут мою корову?

– Да, – сказал Уорнер. – Раз Хьюстон требует. Бери доллар.

– А он мне не нужен, – сказал Минк, уже уходя. – Мы с Хьюстоном не деньгами рассчитываемся, мы с ним рассчитываемся ямами. Мне только надо было проверить закон. А раз так по закону, значит, мне, как видно, надо подчиниться, я против закона не пойду. Ежели законам не подчиняться, так зачем зря деньги тратить – сочинять их, записывать.

– Погоди, – сказал Уорнер. – Не смей туда ходить. Не смен и близко подходить к Хьюстону. Ступай домой и жди. Я тебе доставлю корову, вот только найду Квика.

– Не нужно, – сказал Минк. – Может, у меня в запасе меньше ям, чем у Хьюстона долларов, но думаю, что еще на два дня у меня их хватит.

– Минк! – крикнул Уорнер. – Минк! Вернись!

Но Минк уже ушел. Правда, спешить ему было некуда, день все равно был загублен. На завтра он пошел в новый загон Хьюстона и пробыл там до заката. На этот раз он спрятал инструменты под кустом, как делал всегда, собираясь вернуться утром, пошел домой, поужинал соевым салом, мучной болтушкой и недопеченными лепешками. Дома были только одни часы – жестяной будильник, который он поставил на одиннадцать вечера, чтобы встать. Он оставил себе от ужина кофе в кофейнике и немного мяса на застывшей сковородке да пару лепешек, так что уже была почти полночь, когда яростный лай пса разбудил негра и тот вышел из хижины, а он, Минк, сказал:

– Это мистер Сноупс. Явился на работу. Сейчас только пробило полночь, так что отметить!

Ему надо было дать о себе знать, чтобы уйти в полдень. И *Они* вместе с Хьюстоном тоже следили за ним, потому что, когда солнце достигло зенита и он отнес инструменты в угол загородки, где уже была привязана его корова, но он снял чужую веревку и, привязав к рогам свою, уже не повел ее, а сам побежал за ней рысцой, хлеща ее концом веревки по бокам.

Ему надо было поскорее отвести ее домой и поставить в загон. Он и сегодня снова не успеет пообедать, потому что надо бежать пять миль напрямик к лавке Уорнера, чтобы в два часа поймать почтовую пролетку на Джефферсон, так как патронов с пулями в лавке Уорнера не держали. Жена с дочками тоже будет сидеть за обедом, а так, по крайней мере, не надо было ругаться, клясть их вполголоса, а может быть, и ударить, толкнуть жену, чтобы подобраться к очагу, вынуть вставной кирпич и вытащить из-под него табакерку с той единственной бумажкой в пять долларов, которую они хранили на черный день, как лодочник, которому пришлось распродать, заложить или проиграть все свое имущество, не может расстаться с каким-нибудь буйком или спасательным кругом. Потому что у него было пять зарядов для старой крупнокалиберной двустволки, главным образом мелкая дробь, и лишь один заряд, каким стреляют дроф или гусей. Но они лежали бог знает сколько лет – он и не помнил сколько. А кроме того, даже если бы он мог гарантировать, что они сработают, Хьюстон заслуживал лучшего.

Он бережно спрятал бумажку в кармашек комбинезона, сел в почтовую пролетку, а к четырем часам дня за последним перевалом показался Джефферсон, и он из простой предосторожности простым инстинктивным опасливым жестом сунул руку в кармашек, ничем не подавая виду, и вдруг стал лихорадочно рыться в опустевшем кармане, куда – он отлично помнил – была тщательно засунута бумажка, потом, не двигаясь, сидел рядом с почтальоном, пока пролетка спускалась с горы. «Надо, – подумал он, – лучше уж сразу», – а вслух сказал спокойно:

– Ладно. Отдайте мои деньги.

– Что? – спросил почтальон.

– Деньги мои, пять долларов, они у меня были в этом кармане, когда я сел к вам у лавки Уорнера.

– Ах ты мелкая гадина! – сказал почтальон. Он остановил пролетку у обочины, закрутил вожжи вокруг кнутовища и подошел с той стороны, где сидел Минк. – Вылезай! – сказал он.

«Теперь надо с ним драться, – подумал Минк, – а ножа при мне нету, если потянусь за палкой, он перехватит. Будь что будет». И он слез с пролетки, а почтальон подождал, пока он подымет свои тощие, жалкие руки. Потом – оглушающий удар, но Минк почувствовал скорее не его, а жесткую неподатливость земли; грохнувшись спиной, он лежал неподвижно, почти спокойно и смотрел, как почтальон влез в пролетку и уехал.

Тогда он встал. Он подумал: «А ведь можно было бы не ездить, и пять долларов были бы целы». Но мысль эта мелькнула и пропала, и он пошел по дороге ровным шагом, словно зная,

зачем идет. Да он и знал, он уже все вспомнил: два или три года назад не то Солон Квик, не то Вернон Талл – неважно кто – видел медведя, последнего медведя в этих краях, он ушел в лес через плотину у мельницы Уорнера, и на него устроили облаву, и кто-то поскакал верхом в Джефферсон за Айком Маккаслином и Уолтером Ювеллом – лучшими охотниками в округе, и они приехали с крупнокалиберными ружьями, с охотничьими собаками, поставили флажки и прочесали долину, где видели медведя, но тот уже ушел. Теперь он знал, что ему делать, – вернее, где попытаться, и, перейдя площадь, он вошел в скобяную лавку, где Маккаслин был совладельцем, и посмотрел Маккаслину в глаза, спокойно подумав: «С ним ничего не выйдет. Он по лесам ходил, а там либо есть олени, медведи, пантеры всякие, либо их нет, так или эдак, никаких выдумок. Не поверит он, если ему соврать, хоть бы я и сумел». Но уже нельзя было не попробовать.

– А зачем вам два патрона с пулями? – спросил Маккаслин.

– Нынче утром один черномазый сказал, будто видел след медведя на болоте, у Блекуотерской плотины.

– Нет! – сказал Маккаслин. – Зачем вам эти два патрона?

– Как уберу хлопок, так расплачусь, – сказал Минк.

– Нет, – сказал Маккаслин. – Не продам. У вас там, во Французовой Балке, ничего такого нет, чтоб нужно было стрелять пулями.

Он был не слишком голоден, хотя и не ел ничего со вчерашнего дня: просто надо было как-то протянуть время до завтрашнего утра, пока не выяснится, отвезет его почтарь обратно до лавки Уорнера или нет. Он знал одну маленькую захудалую харчевню в дальнем проулке – ее держал известный всей Французовой Балке агент по продаже швейных машин Рэтлиф, и если найдется полдоллара или хотя бы сорок центов, то там можно съесть котлеты и на никель бананов, и еще двадцать пять центов останется.

А за эти деньги можно было получить койку в Коммерческой гостинице, некрашеном двухэтажном бараке тоже в дальнем проулке; через два года владельцем этой гостиницы станет его родич Флем, чего, впрочем, Минк еще не знал. В сущности, он даже ни разу не вспомнил своего родича с того вчерашнего утра, как вошел в лавку Уорнера, где Флем, до того как уехал с женой в Техас, всегда стоял на самом видном месте, – но ведь ему только надо было переждать до восьми часов утра, а ежели каждый раз за ожидание он стал бы платить наличными, он давным-давно очутился бы в рабочем доме.

Уже наступил вечер, вокруг площади загорелись огни, свет из аптеки косо падал на мостовую, и на камнях тускло дрожали мутно-розовые и зеленоватые пятна от шаров в окне, наполненных зеленой и красной жидкостью, Минку был виден прилавок с газированной водой и молодежь – молодые люди и девушки в городском платье, которые пили сладкие разноцветные сиропы, и он видел, как все эти парочки, молодые люди с девицами, и старики, и дети шли куда-то в одну сторону. Потом он услышал музыку, играл рояль, очень громко. Он пошел за толпой и увидел на пустыре высокую дощатую загородку с освещенным окошечком кассы у входа. Называлось все это «Светоч», он видел его и раньше снаружи, иногда днем, когда приезжал по субботам в город, а три раза – вечером, освещенным, как сейчас. Но внутри он никогда не был, потому что те три раза, когда он попадал в Джефферсон к вечеру, он приезжал верхом на муле из поселка с компанией мужчин, своих ровесников, чтобы поспеть ранним поездом в мемфисский публичный дом, и те несколько жалких долларов, что были у него в кармане, он силой отрывал от своего скудного пропитания, как отрывал и те два дня от работы дома, да и кровь ему в то время распаляло желание куда более настойчивое и жадное, чем желание побывать в кино.

Конечно, сейчас он мог бы истратить несколько центов. Однако он стал в стороне, пока очередь медленно продвигалась мимо окошечка кассы и пока последний не прошел внутрь. Потом резкий ослепительный свет за загородкой замигал и замер в холодном мерцанье, и,

подойдя к загородке, прильнув глазом к щели, он увидел в длинной вертикальной прорези кусок, часть зрительных мест – темный ряд неподвижных голов, над которыми жужжащий конус света раскалывался в пылком и призрачном движении тел, в пляске и мерцании несбыточных снов и надежд, искусовых и бессвязных, оттого что ему видна была только узкая вертикальная полоска экрана, и он смотрел, пока голос из билетного окошка рядом не проговорил:

– Заплатите пять центов и войдите. Там все видно.

– Нет, премного благодарен, – сказал он. И пошел дальше. Площадь теперь опустела, а когда кончился сеанс, молодежь, юноши и девушки, прежде чем уйти домой, снова станут пить и есть всякие сласти, которых он никогда не пробовал. Он надеялся, что, быть может, увидит хоть один автомобиль: их в Джефферсоне уже было целых два – красный гоночный, принадлежавший мэру, мистеру де Спейну, и белый «стимер», собственность президента банка – старого банка города Джефферсона (полковник Сарторис, тоже богач, президент другого банка – нового банка, – не только не желал покупать автомобиль, но даже три года назад добился закона, который запрещал ездить по улицам Джефферсона в автомобилях, после того как самодельная машина, которую некто по фамилии Баффало сварганил у себя на заднем дворе, напугала чистокровных коней полковника так, что они понесли). Но автомобиля он не увидел. Когда он переходил площадь, она была по-прежнему пуста. Дальше был отель, «Холстон-хаус», коммивояжеры сидели на тротуаре в кожаных креслах: вечер был теплый, один из наемных экипажей уже стоял наготове, и негр-слуга грузил чемоданы и ящики с образцами товаров для тех, кто собирался уезжать на юг.

Значит, надо было идти поскорее, чтобы не опоздать к приходу поезда, хотя все четыре освещенных циферблата часов над городским судом показывали только десять минут девятого, а он знал по опыту, что новоорлеанский поезд прибывает из Мемфиса в Джефферсон всего без двух минут девять. Правда, он знал и то, что товарные поезда приходят в любое время, не говоря уж о другом пассажирском поезде, на котором он тоже ездил, проходившем на север в половине пятого. Так что он мог просидеть ночь, не двигаясь, и все же наверняка увидеть до рассвета два, а то и пять, и шесть поездов.

Он прошел с площади мимо темных домов, где старики, тоже не ходившие в кино, сидели в качалках, смутно видных в прохладной темноте дворов, потом через негритянский квартал, куда даже электричество провели, – живут мирно, без забот, им не надо в одиночку биться и бороться, и не затем, чтобы добиться правды и справедливости, потому что все это давно потеряно, но чтобы защитить хоть самые основы, хоть свое право на них, а вместо этого они могут поболтать друг с дружкой, а потом пойти к себе домой, пусть всего лишь в негритянскую лачугу, и лечь спать, вместо того чтобы идти всю дорогу до вокзала, лишь бы на что-то смотреть, пока проклятый почтарь не выедет завтра в восемь утра.

Потом – вокзал, красные и зеленые глазки семафоров, гостиничный омнибус, наемные экипажи, самоходная коляска Люшьюса Хоганбека, длинный, залитый электричеством перрон, полный мужчин и мальчишек, которые тоже пришли поглазеть на проходящие поезда: они тут стояли и в те три раза, когда он сам сошел с этого поезда, и на него тоже смотрели так, будто он приехал бог весть откуда, а не просто из мемфисского борделя.

Потом – поезд, четыре гудка у северного переезда, свет фар, грохот, колокол паровоза, машинист и кочегар, смутно видные наверху, над струей шипящего пара, тормоза, багажные и пассажирские вагоны, потом вагон-ресторан и вагоны, где люди спят, пока едут. Поезд останавливается. Негр, куда нахальнее, чем хьюстоновский слуга, выходит со складным стулом, за ним кондуктор, потом богатые люди весело садятся в вагоны, где уже спят другие богачи, за ними – негр со своим стульчиком и кондуктор, кондуктор высовывается, машет паровозу, паровоз отвечает кондуктору, отвечает первыми короткими, низкими гудками отправления.

Потом двойной рубиновый огонь последнего вагона быстро сплывается в одно, мигнув напоследок у поворота, четыре гудка отзываются, замирая у южного переезда, и он думает о дальних местах, о Новом Орлеане, где он никогда не бывал, да и не побывает, о дальних местах за Новым Орлеаном, где-то там, в Техасе. И тут в первый раз он по-настоящему подумал о своем уехавшем родиче, о единственном из рода Сноупсов, который выдвинулся, вырвался и то ли родился с этим, то ли научился – сам себя вышколил, приобрел эту сноровку, это везенье, это умение тягаться с *Ними*, защищаться от *Них*, одолевая *Их*, на что у него, Минка, как видно, ни сноровки, ни везенья не хватило. «Надо было мне подождать, пока он вернется», – подумал он, проходя по уже опустевшей безлюдной платформе, и только тут заметил, что подумал не «надо подождать» Флема, а "надо *было* подождать", как будто ждать уже поздно.

В зале ожидания вокзала с жесткими деревянными скамьями и холодной железной заплыванной табаком печкой тоже было пусто. Он видел вокзальные объявления насчет того, что плевать воспрещается, но нигде не было сказано, чтобы запрещалось человеку без билета сидеть в зале. Ничего, выяснится, и он стоял, невзрачный человек, отошавший без еды, без сна вот уже скоро сутки, с виду беспомощный и незащитный, как подросток, как мальчик, в линялом латаном комбинезоне и рубахе, в тяжелых изношенных, жестких, как железо, башмаках на босу ногу, в пропотевшей, просаленной черной фетровой шляпе, заглядывая в пустую голую комнату, освещенную единственной голой лампочкой. За окошком кассы он слышал прерывистое щелканье телеграфа и два голоса – это ночной дежурный изредка переговаривался с кем-то, а потом голоса умолкли, и телеграфист в зеленом козырьке выглянул из окошечка.

– Вам чего? – спросил он.

– Ничего, премного благодарен, – ответил Минк. – Когда следующий поезд?

– В четыре двадцать две, – сказал телеграфист. – Вам на него?

– Да, вот именно, – ответил он.

– Еще шесть часов ждать. Ступайте домой, выпитесь, а потом придете.

– Я из поселка, с Французовой Балки, – сказал он.

– Ага, – сказал телеграфист. Он скрылся в окошечке, и Минк снова сел. Стало тихо, и он даже разобрал, расслышал, как в темных деревьях за путями шуршат и стрекочут кузнечики, в неумолчном мирном шорохе, словно сами секунды и минуты мирно тикают в мирной тьме летней ночи, отщелкивая время, одна за другой. Вдруг весь вокзал затрясся, задрожал, наполнился громом, уже проходил товарный поезд, а он все еще никак не мог заставить себя проснуться, чтобы успеть выйти на перрон. Он все еще сидел на жесткой скамье, скорчившись от холода, когда алые огни последнего вагона прочертились в окнах, потом – в распахнутой двери, уводя грохот за собой, четыре гудка у перекрестка отдались в ушах и замерли. На этот раз телеграфист оказался в зале рядом с ним, а верхний свет был уже потушен.

– Проспали, – сказал он.

– Верно, – отозвался Минк. – Почти что и не слышал его.

– Почему не ляжете на скамейку поудобнее?

– А это не запрещается?

– Нет, – сказал телеграфист. – Я вас разбужу, когда объявят восьмой.

– Премного благодарен, – сказал он и прилег. Телеграфист ушел к себе, где уже снова стрекотал аппарат. «Да, – мирно подумал Минк, – если бы Флем был дома, он все бы это прекратил в первый же день, еще до того, как оно началось. Зря, что ли, он работал на Уорнера, и к Хьюстону был вхож, и к Квику, и ко всем другим. Он бы и сейчас все уладил, если бы я мог выждать. Только тут не во мне дело, не я ждать не могу. Это Хьюстон не дает мне ждать». Но он тотчас понял, что это неверно, что, даже если бы он ждал сколько угодно, *Они* сами помешали бы Флему возвратиться вовремя. И эту чашу ему придется испить до дна, придется ему все вынести, пойти на этот последний, бесполезный и бессмысленный риск, на опасность только ради того, чтобы показать, сколько он может вынести, до тех пор, пока *Они* не вернут

его родича, чтобы спасти его. На той же чаше лежала и жизнь Хьюстона, но о Хьюстоне он не думал. Он как-то перестал думать о нем с той минуты, когда Уорнер сказал, что придется заплатить штраф.

– Ладно уж, – сказал он мирно и на этот раз вслух, – ежели *Им* так хочется, пожалуй, я и это выдержу.

В половине восьмого он стоял в узком дворике за почтой, где казенные пролетки ждали, когда почтари выйдут из боковой двери с мешками почтовых отправлений. Он уже узнал пролетку с Французовой Балки и спокойно встал рядом, не слишком близко, однако так, что почтарь непременно должен был его увидеть, и наконец малый, который вчера сбил его с ног, вышел, увидел его, узнал с одного взгляда, потом подошел и уложил мешок с почтой в пролетку, а Минк не пошевелился, просто стоял, ждал – возьмет он его или нет, и почтальон сел в пролетку и распутал вожжи с кнутовища и сказал:

– Ну ладно. Как-никак тебе надо вернуться на работу. Полежай, – и Минк подошел и сел в пролетку.

Был уже двенадцатый час, когда он слез у лавки Уорнера, сказал: «Премного благодарен», – и пошел домой пять миль. Он поспел к обеду и ел медленно и спокойно, пока его жена скулила и грызла его (хотя, очевидно, она не заметила вынутый кирпич), допытываясь, где да зачем он пропадал всю ночь, потом кончил есть, допил свой кофе и, непристойно, злобно выругавшись, выгнал всех троих – жену и обеих девчонок – окучивать всходы, а сам улегся на земляной под в галерейке под сквознячком и проспал до вечера.

Потом наступило завтрашнее утро. Он взял из угла тяжелое, принадлежавшее еще его деду, двуствольное ружье десятого калибра, у которого курки стояли над казенной частью высоко, как уши кролика.

– Это еще что? – закричала жена. – Ты что затеял?

– Зайцев бить, – сказал он. – Меня от сала уже мутит, – и, захватив патроны с самой крупной дробью из своего жалкого запаса, – там были ружейные патроны и со вторым, и с пятым, и с восьмым номером, – он стал пробираться даже не боковыми тропками и дорожками, а канавами, пролесками и оврагами, где его никто не приметит, не увидит, до самого тайника, который он себе подготовил, пока ждал возвращения Уорнера два дня назад: там, где дорога от дома Хьюстона к лавке Уорнера шла по мосту через ручей, в зарослях у дороги лежало бревно, на которое можно было сесть; на кустах, где он проделал что-то вроде прорези, откуда можно было целиться, еще не засохли обломанные ветки, а деревянные доски моста в пятидесяти ярдах от него, загремев под копытами жеребца, должны были предупредить его, если он задремлет.

Возможно, что и целая неделя пройдет, прежде чем Хьюстон поедет в лавку. Но рано или поздно он поедет. А если ему, Минку, для того чтобы победить *Их*, надо выжидать, так *Они* могли бы сдаться уже три месяца назад и не тратить зря свои и чужие силы. Словом, не только в первый, но и на второй день он вернулся домой без добычи и ел ужин в упорном, неизменном молчании, пока жена ныла и грызла его за то, что он ничего не принес, а потом, отодвинув пустую тарелку, холодной, ровной, злобной и монотонной руганью заставлял ее замолчать.

И, может быть, это случилось не на третий день. По правде сказать, он и не помнил, сколько дней прошло, когда он наконец услышал внезапный грохот копыт по мосту и потом увидел их: жеребец, играя, грыз удила и мундштук, которыми сдерживал его Хьюстон, а огромный поджарый пес бежал рядом. Он взвел оба курка, вдвинул ружье в просвет меж кустами и ждал: в тот миг, когда он целил в грудь Хьюстону, чуть поводя стволами, когда его палец уже лег на передний спуск и первый патрон, глухо щелкнув, дал осечку, он подумал: "Даже сейчас *Им* все мало", – а его палец уже лег на второй спуск, и он опять подумал, даже тут, когда вдруг грохнуло и загремело, подумал: "Если бы только было время, если б успеть между грохотом выстрела и попаданием сказать Хьюстону, если б Хьюстон мог услышать: «Не за то я в тебя

стреляю, что отработал тридцать семь с половиной дней по полдоллара за день. Это пустое, это я давно забыл и простил. Видно, Уорнер иначе никак не мог, он и сам богач, а вам, богатым, надо стоять друг за дружку, иначе другим, бедным, вдруг втемяшится в башку взять да и отнять у вас все. Нет, не за то я в тебя стрелял. Убил я тебя за тот лишний доллар, за штрафной».



## 2. МИНК

Итак, присяжные сказали: «Виновен», – а судья сказал: «Пожизненно», – но он даже не слушал. Потому что с ним что-то произошло. Когда шериф вез его в город в тот первый день, он, зная, что его родич еще в Техасе, все же верил, что у любого придорожного столба Флем или его посланец догонит их, выйдет на дорогу и остановит их, что-то скажет или вынет деньги, словом, сделает так, что все развеется, исчезнет, как сон.

И все те долгие недели, когда он в тюрьме ждал суда, он стоял у оконца камеры, сжимая грязными руками прутья решетки и вытянув шею, прижимался к ним лицом, глядя на угол улицы перед тюрьмой, на угол площади, который придется срезать его родичу, когда тот пойдет к тюрьме, чтобы развеять наваждение, освободить его, увести отсюда: «Больше мне ничего и не надо, – думал он, – только бы выбраться отсюда, вернуться домой, хозяйничать на земле. Я многого и не прошу».

И по вечерам он все стоял у окна, и лица его не было видно, а исхудалые руки казались почти белыми, почти чистыми в темноте камеры, меж закопченными прутьями решетки, и он смотрел на свободных людей, на мужчин, на женщин, на молодежь, у всех у них были свои мирные дела, свои удовольствия, и шли они прохладным вечером к площади смотреть кино или есть мороженое в кондитерской, а может быть, просто спокойно погулять на свободе, потому что они-то были свободны, и он стал окликать их, сначала робко, потом все громче и громче, все настойчивее и настойчивее, и они останавливались, словно с перепугу, и смотрели на окошко, а потом пускались почти бегом, как будто хотели поскорее уйти туда, где он их не увидит; и в конце концов он стал предлагать им деньги, обещать им: «Эй, мистер! Миссис! Кто-нибудь! Кто передаст поручение в лавку Уорнера, Флему Сноупсу? Он заплатит! Он десять долларов даст! Двадцать!»

И когда наконец настал день и его в наручниках повели в зал, где надо было встать лицом к лицу с судьбой, он ни разу даже не взглянул на судей, на возвышение, которое легко могло стать его Голгофой, а вместо того не отрываясь, пристально смотрел на бледную, безымянную, безразличную толпу, ища в ней своего родича или хотя бы его посланца, смотрел до той минуты, когда самому судье пришлось перегнуться через высокий пюпитр и крикнуть: «Вы, Сноупс! Смотрите мне в глаза! Вы убили Джека Хьюстона или не вы?» И он ему ответил: «Не трогайте меня! Видите – я занят!»

Да и на следующий день, когда все эти судейские кричали, и препирались, и склочничали, он ничего не слышал, даже если бы мог их понять, потому что все время смотрел на ту дальнюю дверь, через которую должен был войти его родич или посланный им человек, а по дороге в камеру, куда его вели в наручниках, его упорный взгляд, в котором сначала было только беспокойство и нетерпение, а теперь стала появляться озабоченность, какое-то изумление и вместе с тем полная трезвость, этот взгляд быстро перебежал по лицам, всматриваясь в каждого, кто попадался навстречу: а потом он снова стоял у окошка камеры, стиснув немытыми руками закопченную решетку, вжимаясь в прутья так, чтобы видеть как можно лучше улицу и площадь внизу, где должен был пройти его родич или посланный им человек.

И потому, когда на третий день, прикованный наручником к конвойному, он заметил, что прошел площадь, ни разу не взглянув в уставившиеся на него лица, и, войдя в зал суда, сел на скамью подсудимых, тоже ни разу не взглянув через море лиц на дальнюю дверь, он все же не посмел признаться самому себе, почему так случилось. Он так и просидел, маленький, щуплый, безобидный с виду, как любой заморыш-мальчишка, пока препирались и разглагольствовали судейские, до того самого вечера, когда присяжные сказали: «Виновен», – и судья сказал: «Пожизненно», – и его повели в наручниках в ту же камеру, и дверь захлопнулась, а он уселся на голую железную койку, притихший, молчаливый, сдержанный, и только взглянул на

маленькое окошко, у которого он ежедневно простаивал по шестнадцать – восемнадцать часов в неугасимой надежде, в ожидании.

И только тут он сказал себе, подумал отчетливо и ясно: "Он не придет. Видно, он все время был в поселке. Видно, это дело до самого Техаса дошло, он все знал про мою корову и только ждал, пока ему скажут, что меня упрятали в кутузку, а уж тогда вернулся, видно, хотел убедиться, что теперь *Они* со мной что угодно могут сделать, что *Они* меня одолели, вымотали. Может, он все время прятался там, в суде, увериться хотел, что ничего не упустил, что теперь-то он от меня избавился, совсем, навсегда".

И тут наконец он успокоился. Раньше он думал, что уже успокоился тогда, в тот час, когда решил, как ему надо поступить с Хьюстоном, и понял, что Хьюстон не даст ему дожидаться, пока придет Флем. Но тогда он ошибался. Какое же тут спокойствие, когда все так неясно: например, неизвестно было, сообщат ли Флему, что он попал в беду, уж не говоря о том, вовремя ли сообщат. И даже если Флему сообщили бы вовремя, мало ли что могло помешать ему приехать – разлив реки или крушение на железной дороге.

Но теперь все это кончилось. Теперь ему не надо было беспокоиться, волноваться, оставалось только ждать, а он уже доказал себе, что ждать он умеет. Просто ждать: больше ему ничего не нужно, даже не надо было просить тюремщика вызвать адвоката – тот сам сказал, что зайдет к нему после ужина.

Он съел ужин, который ему принесли, – ту же свинину и непропеченные лепешки с паточкой, которые он ел бы дома, впрочем, ужин был даже получше: свинина не такая жирная какую приходилось есть дома. Разве только дома ужин был свой, и ел он его у себя, на свободе. Но он и это может выдержать, если *Они* больше с него ничего не потребуют. Потом он услышал шаги на лестнице, двери хлопнули, впуская адвоката, и потом захлопнулись за ним; адвокат был молодой, горячий, только что из юридического института, сам судья его назначил, вернее, велел ему защищать Минка, но он, Минк, хоть ему и было не до того, все же сразу понял, что этому адвокату нет никакого дела ни до него, ни до его бед, – да он и не знал, к чему все это, так как все еще был уверен, что уладить дело проще простого: для этого судья или кто угодно должен только послать на Французову Балку и найти его родича.

Слишком он был молод, слишком горяч, этот адвокат, вот почему он так все испортил. Но теперь и это было неважно. Теперь главное узнать, что будет дальше. Он не стал терять времени.

– Ладно, – сказал он. – А долго ли мне там быть?

– Это Парчменская тюрьма, каторжная, – сказал адвокат. – Как же вы не понимаете?

– Ладно, – повторил он. – А долго ли мне там быть?

– Вас приговорили пожизненно, – сказал адвокат. – Разве вы не слышали, что он сказал? На всю жизнь. Пока не умрете.

– Ладно, – сказал он в третий раз с тем же спокойным, почти что сострадательным терпением: – А долго ли мне там быть?

И тут даже этот адвокат его понял.

– А-а... Ну, это зависит от вас и ваших друзей, если они у вас есть. Может, всю жизнь, как сказал судья Браммедж. Но лет через двадцать – двадцать пять вы по закону имеете право хлопотать об амнистии или проситься на поруки, если у вас есть влиятельные друзья и если там, в Парчмене, вы будете себя вести как надо.

– А если у кого друзей нет? – сказал он.

– У людей, которые прячутся в кустах и стреляют по человеку, даже не крикнув: «Защищайся», – даже не свистнув, у таких, конечно, друзей не бывает, – сказал адвокат. – Значит, чтобы оттуда выйти, вам остается только надеяться на самого себя.

– Ладно, – сказал он с тем же непоколебимым, с тем же бесконечным терпением. – Я потому и жду не дожусь, чтобы вы перестали болтать и мне все объяснили. Что мне надо делать, чтобы выйти оттуда через двадцать или двадцать пять лет?

– Главное – не пытаться бежать, не участвовать ни в каких заговорах, чтобы помочь бежать другим. Не вступать в драку с другими заключенными или со стражей. Исполнять все, что прикажут, от работы не отлынивать, не жаловаться, не возражать, делать все, пока не прикажут прекратить работу. Другими словами, вести себя как следует, и если бы вы так себя вели все время, с того самого дня, прошлой осенью, когда вы решили прокормить свою корову даром за счет мистера Хьюстона, то вы бы и сейчас не сидели в этой камере и не спрашивали бы, как вам отсюда выбраться. А главное – не делайте попыток к бегству.

– Попыток? – переспросил он.

– Не пробуйте удрать. Не пытайтесь бежать.

– Не пытаться? – повторил он.

– Ведь все равно это невозможно, – сказал адвокат, с трудом сдерживая подступающую злость. – Все равно уйти нельзя. Не удастся. Никогда не удастся. Нельзя задумать побег, чтобы другие не узнали, а тогда они тоже будут пытаться бежать вместе с вами, и всех вас поймают. И если даже вам удастся от всех скрыть свои планы и вы убежите один, часовой подстрелит вас, когда вы будете перелезать через ограду. Так что, даже если вы не попадете в морг или в больницу, вас вернут в тюрьму и прибавят еще срок – еще двадцать пять лет. Теперь вы поняли?

– Значит, мне только одно и надо, чтобы выйти лет через двадцать – двадцать пять? Не пытаться бежать. Ни с кем не драться. Делать, что велют, слушаться, когда приказывают. А главное – не пытаться бежать. Вот все, что мне надо делать, чтобы выйти на свободу через двадцать – двадцать пять лет.

– Правильно, – сказал адвокат.

– Ладно, – сказал он. – Теперь ступайте спросите судью, так это или нет, а если он скажет, что так, пусть пришлет мне бумагу, где все будет написано.

– Значит, вы мне не верите? – сказал адвокат.

– Никому я не верю, – сказал он. – Некогда мне тратить двадцать, а то и двадцать пять лет, чтобы проверить, правильно вы сказали или же нет. У меня дело будет, когда я выйду. Так что мне надо знать. Мне бы получить бумагу от судьи.

– Значит, вы мне, как видно, никогда и не верили, – сказал адвокат. – Значит, вы, как видно, считаете, что я все ваше дело провалил? Может, вы считаете, что, если бы не я, вы бы тут не сидели? Так или не так?

И он, Минк, сказал с тем же непоколебимым, терпеливым спокойствием:

– Вы все сделали, что могли. Просто неподходящий вы человек для такого дела. Вы молодой, горячий, но мне не то нужно. Ловкач, деляга, чтоб умел дела делать. А вы не такой. Ступайте-ка лучше, возьмите для меня бумагу от судьи.

Но тут он, адвокат, даже попытался рассмеяться.

– И не подумай! – сказал он. – Суд отпустил меня сегодня же, как только вынесли вам приговор. Я просто зашел попрощаться, узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь. Но, очевидно, люди, у которых нет друзей, и в помощи не нуждаются.

– Но я-то вас еще не отпустил! – сказал Минк и встал не торопясь, но тут адвокат вскочил, метнулся к запертой двери, уставившись на маленького человечка, который шел на него, щуплый, невзрачный, безобидный с виду, как ребенок, но смертельно опасный, как мелкая змея – вроде молодой гадюки, кобры или медянки. И адвокат закричал, завопил, и уже по лестнице затопал тюремщик, дверь с грохотом распахнулась, и тюремщик встал на пороге с револьвером в руке.

– Что случилось? – крикнул он. – Что он вам хотел сделать?

– Ничего, – сказал адвокат. – Все в порядке. Я кончил. Выпустите меня.

Но он совсем не все кончил, ему только хотелось так думать. Он даже не стал ждать до утра. Уже через пятнадцать минут он был в гостинице, в номере, где остановился окружной судья, который председательствовал на суде и вынес приговор, и он, адвокат, все еще задыхался, не веря, что ему больше не угрожает опасность, все еще удивлялся, как это ему удалось спастись.

– Он сумасшедший, понимаете? – сказал он. – Он опасен! Нельзя просто сажать его в Парчменскую тюрьму, где через какие-нибудь двадцать – двадцать пять лет он будет иметь право выйти на поруки, если только кто-нибудь из его родственников, – а их у него до черта! – или кто-нибудь со связями, или просто какой-нибудь слюнтяй-благотворитель, вхожий к губернатору, не вызволит его до тех пор! Надо его отправить в Джексон, в сумасшедший дом, пожизненно, там он будет в безопасности, вернее, мы все будем в безопасности!

А еще через десять минут прокурор, который был обвинителем по этому делу, тоже сидел у судьи и говорил адвокату:

– Значит, вы хотите опротестовать приговор и снова назначить дело к слушанию? А почему вы раньше об этом не подумали?

– Да ведь вы же сами его видели! – сказал, вернее, крикнул адвокат. – Вы же сидели с ним в суде целых три дня!

– Правильно, – сказал прокурор. – Оттого-то я и спрашиваю, почему вы только сейчас спохватились.

– Значит, вы его с тех пор не видели, – сказал адвокат. – Пойдемте в камеру, посмотрите, каким я его застал полчаса назад.

Но судья был человек старый, идти вечером не захотел, и только на следующее утро тюремщик отпер камеру, впустил всех троих, и навстречу им с койки встал маленький, хрупкий с виду, почти бесплотный человечек, в заплатанном, вылинявшем комбинезоне и такой же рубашке, в жестких, как железо, башмаках на босу ногу. Утром его побрили, и волосы у него были расчесаны на пробор и плотно прилизаны.

– Входите, джентльмены, – сказал он. – Стульев у меня нет, да вы, наверно, и не собираетесь тут долго рассиживаться. Значит, вы не только принесли мне бумагу, судья, вы еще и двух свидетелей привели, чтоб при них отдать.

– Погодите, – торопливо сказал судье адвокат, – дайте мне сказать. – Он подошел к Минку: – Вам никакой бумаги не нужно. Судья и все они будут вас судить еще раз.

Тут Минк застыл на месте. Он посмотрел на адвоката.

– А зачем? – сказал он. – Меня уже раз судили, а толку все равно никакого.

– Тот суд был неправильный, – сказал адвокат. – Об этом мы и пришли вам сообщить.

– Если тот неправильный, так чего же терять время, деньги тратить на второй? Велите этому малому принести мою шляпу, отворить двери, и я пойду себе домой хлопок собирать, ежели только там еще что-нибудь осталось.

– Нет, погодите, – сказал адвокат. – Тот суд был неправильный, потому что вас приговорили к каторжным работам пожизненно. А теперь вам не надо будет сидеть в тюрьме, где придется целыми днями работать в жару на чужом поле на чужого дядю. – И тут под немигающим взглядом выпцветших сероватых глаз, которые уставились на него так, будто они не только не умели мигать, но с самого рождения им ни разу и не понадобилось мигнуть, адвокат вдруг помимо воли забормотал, не в силах остановиться: – Не в Парчмен вас отправят, а в Джексон, там у вас и комната будет отдельная, там и работать не надо, отдыхай весь день, там доктора... – И сразу оборвал себя, вернее, не сам оборвал свое бормотанье, оборвал его немигающий взгляд выпцветших серых глаз.

– Доктора, – сказал Минк. – Джексон. – Он уставился на адвоката. – Да ведь туда сумасшедших сажают.

– А там вам было бы лучше... – начал прокурор. Но больше ничего сказать не успел. В университете он занимался спортом и до сих пор сохранил форму. И то он едва успел схватить эту маленькую бешеную тварь, когда она кинулась на адвоката, и оба покатались по полу. И то понадобилась помощь тюремщика, чтобы вдвоем оттащить Минка, и они еле-еле удерживали его, как бешеную кошку, а он бормотал, задыхаясь от злости:

– Так я сумасшедший? Сумасшедший? Ах ты сукин сын, я тебе покажу, как меня обзывать сумасшедшим, я никому не спущу, будь он хоть самый главный, будь их хоть десяток...

– Правильно, мерзавец ты этакий! – задыхаясь, крикнул прокурор. – В Парчмен тебя, в Парчмен! Там для тебя найдутся доктора, там тебя вылечат!

И его отправили в Парчмен, приковав наручником к помощнику шерифа, и они пересаживались из вагона в вагон, ехали на пригородных поездах, и последний поезд наконец вышел из предгорья, знакомого ему с самого детства, к дельте реки, которую он никогда в жизни не видел, – на огромную плоскую болотистую низину, поросшую кипарисами и эвкалиптами, где в зарослях и чащобах водились медведи, олени, пантеры и кишмя кишели змеи, а человек до сих пор злобно и упорно корчевал деревья и на жирной кочковатой земле выращивал высокий тощий хлопок, подымавшийся выше головы всадника, и он, Минк, сидел, прильнув к оконному стеклу, как ребенок.

– Да тут одни болота, – сказал он. – Места, видать, вредные.

– Еще какие вредные, – сказал помощник шерифа. – А это так и задумано. Тут каторжная тюрьма. По-моему, ничего вреднее нет, чем сидеть взаперти, за колючей проволокой, двадцать, а то и двадцать пять лет. А тебе от вредного места больше пользы будет, – по крайней мере, недолго протянешь.

Теперь он понял, что такое Парчмен, каторжная тюрьма, его судьба, рок, вся его жизнь, как сказал судья, тут ему быть пожизненно, до самой смерти. Но адвокат говорил не так, хоть ему и нельзя было верить: он сказал – только двадцать пять, а то и двадцать лет, а всякий адвокат, даже такой, которому верить нельзя, все же свое дело знает, не зря он в специальном заведении учился, там его натаскали, чтоб знал свое дело, – а что судья, ему только надо было голоса заполучить, победить на выборах. Ну, пусть судья не подписал бумагу, где было бы сказано про эти двадцать пять, а то и двадцать лет, это неважно, судья-то против него, он, конечно, соврет человеку, которого судит, а вот адвокат, твой собственный адвокат, тот тебе не соврет. Больше того, твой адвокат тебе врать не может, – есть, говорят, какое-то правило, ежели клиент своему адвокату не врет, то и он ему врать не станет.

Пусть даже это и неверно, не все ли равно, раз он никак не может всю жизнь сидеть в Парчмене, на это у него времени нет, ему непременно надо выйти оттуда. И, глядя на высокую ограду с колючей проволокой, на единственные ворота, где день и ночь стояли часовые с ружьями, на низкие мрачные каменные строения с зарешеченными окнами, он с удивлением подумал, попытался вспомнить, как еще недавно он хотел освободиться только затем, чтобы вернуться домой и хозяйничать на участке, но вспомнил об этом только мимоходом, потому что теперь он знал – ему необходимо отсюда выйти.

Да, выйти было необходимо. Привычную одежду – линялый латаный комбинезон с рубашкой – ему сменили на комбинезон и фуфайку из грубой белой ткани, исчерченной поперек черными полосами, и, если верить судье, это был его рок, его судьба до самой смерти, ежели бы адвокат не сказал другое. Теперь он работал вместе с другими каторжанами на жирных черных хлопковых полях, и охрана, верхом, с ружьями через седло, караулила их, и он делал то единственное, что он умел, что делал всю свою жизнь, и уж до конца жизни ему не суждено было бы работать на своем участке, если бы судья оказался прав, и при этом думал: «Пусть так и будет. Так даже лучше. Ежели человек по своей охоте работает, он может и работать и не работать. А ежели человеку работать НУЖНО, так тут его ничем не остановишь».

И ночью, лежа на деревянной койке, без простыни, под грубым одеялом, подложив под голову одежду вместо подушки, он в мыслях твердил себе одно и то же, потому что ему надо было из ночи в ночь, двадцать – двадцать пять лет подряд переделывать всего себя, свой характер, всю свою сущность: «Надо делать то, что велят. Никому не перечить. Ни с кем не драться. Вот все, что мне надо делать двадцать пять, а то и всего двадцать лет. А главное – не пытаться бежать».

Он даже не считал проходившие годы. Он просто предавал их забвению, затапывал тяжелыми башмаками в землю на хлопковом поле, когда шел сначала за впряженным в плуг мулом, потом – за бороной, потом – с тяпкой и мотыгой и, наконец, с тяжелым мешком, куда он собирал, складывал хлопок. Ему и не надо было считать годы, теперь он был в руках Закона, и, пока он выполнял четыре условия, которые ему поставил Закон, этот Закон должен был выполнить одно-единственное условие – насчет тех двадцати пяти, а то и всего лишь двадцати лет.

Он не знал, сколько лет протекло, два года или три, когда пришло письмо, и, стоя в кабине начальника тюрьмы, он вертел в руках конверт с маркой и карандашным адресом под пристальным взглядом начальника.

– Читать умеете? – спросил начальник.

– По-печатному могу, а по-писаному не разбираю.

– Может быть, мне распечатать? – спросил начальник.

– Ладно, – сказал он, и начальник распечатал письмо.

– От вашей жены. Спрашивает, когда ей можно приехать на свидание и хотите ли вы повидать дочек.

Он снова взял в руки письмо, листок, вырванный из школьной тетради, исписанный карандашом, тонкими, как паутинки, закорючками, понятными ему ничуть не больше, чем арабский или санскритский текст.

– Этти даже читать не может, не то что писать по-писаному, – сказал он. – Наверно, за нее миссис Талл писала.

– Так как же? – сказал начальник. – Что ей написать?

– Напишите, что нечего ей сюда тащиться, потому что я скоро вернусь домой.

– Вот как, – сказал начальник. – Значит, собираетесь скоро выйти отсюда, так? – Он посмотрел на тощее маленькое существо ростом с пятнадцатилетнего мальчишку; он был в его ведении уже три года и ничем не выделялся из общей массы заключенных. Нет, он не был загадкой, тайной, он просто был ничем – никаких штрафов, никаких замечаний или жалоб от тюремщиков, старост или начальства, никаких стычек с другими заключенными. А начальник по опыту знал, что убийцы, осужденные пожизненно, обычно делятся на две категории: либо это неисправимые, которым терять нечего, от них одни неприятности и хлопоты и страже, и другим заключенным, либо подхалимы, которые пресмыкаются перед всеми, от кого зависит облегчить им жизнь. Но этот не такой: каждое утро выходит на работу, весь день работает упорно и добросовестно, как будто выращивает хлопок себе на потребу. Более того, он лучше обрабатывает этот хлопок, за который не получит ни цента, чем люди его склада и характера обрабатывают собственные участки, – начальник это знал по опыту. – Каким же образом? – спросил начальник.

И Минк ему сказал то, что сейчас, через три года, он уже твердо заучил наизусть: стоило ему только открыть рот, и слова выходили, как дыхание:

– Надо делать то, что велят. Не перечить, не драться, не пытаться бежать. Это главное – не пытаться бежать.

– И тогда через семнадцать лет или через двадцать два года вы попадете домой, – сказал начальник. – Три года вы уже отбыли.

– Вот как? – сказал он. – А я и не считал... Нет, – добавил он, – не сразу домой. Мне сначала надо одно дело обделать.

– Какое? – спросил начальник.

– Да одно личное дело. Закончу его, тогда вернусь домой. Вы ей так и напишите.

«Да, да, – подумал он. – Похоже, что я только затем и попал сюда, в Парчмен, в этакую даль, чтобы потом выйти, добраться напрямик до дому и убить Флема».

### 3. В.К.РЭТЛИФ

Чего Монтгомери Уорд никак не мог взять в толк ни в первый день, ни в следующие два-три дня, так это – почему Флему непременно надо было засадить его именно в Парчменскую тюрьму. Почему не в какое-нибудь другое, тоже безопасное, тоже уединенное место, скажем, в Атланту или в Ливенуорт, а то и в Алькатраз <sup>1</sup>, за две тысячи миль, куда старый судья Лонг отправил бы его первым же поездом из Джефферсона (сам он все еще разглядывал исподтишка эти французские открытки), почему это Флему непременно понадобилось заслать Монтгомери Уорда именно в Парчмен, Миссисипи?

Вообще-то с самого начала во всей этой суматохе Монтгомери Уорд ни на минуту не задумывался над тем, что с ним стряслось. Как только Юрист и Хэб вошли к нему, он в ту же секунду понял – наконец случилось то, чего он ждал с той самой минуты, как флем пронюхал или заподозрил, что можно извлечь прибыль из делишек, которые творились в этом переулочке. Одно только было непонятно: зачем Флему понадобились такие фокусы и сложности, чтоб отхватить у него эту самую торговлю голыми открытками. Похоже было на анекдот про того енота на дереве, который все добивался от парня с ружьем, угрожавшего ему снизу, как его зовут, а когда тот наконец ответил, енот и говорит: «Ох, нечистая сила! Так вот ты кто! Чего ж тебе время тратить, порох зря изводить, отойди-ка, я и так слезу!»

В общем, он, конечно, прошляпил. То, что Флем Сноупс отнял у него это дельце, было в порядке вещей. Он этого ждал: раньше или позже и его очередь должна была прийти, он рисковал ничуть не меньше, чем любой житель округа Йокнапатофа, чем всякий, кто занимался делом настолько выгодным, чтобы Флему захотелось его присвоить. Но допустить, чтоб эти открытки попали в руки самого прокурора штата и самого шерифа, именно к ним двоим из всех жителей округа, именно к тем двум людям, про которых даже Гровер Уинбуш, простая душа, не подумал бы, что они это дело так оставят, потому что юрист Стивенс до того старался поднять гражданскую совесть, до того пекся насчет нравственности, что из чистого чувства долга, никак не иначе, силком заставлял двенадцатилетних мальчишек бегать в пятимильной эстафете, тогда как им только и хотелось спокойненько сидеть дома и поджигать отцовские сараи, а шериф – Хэб Хэмптон, силач, крепколобый баптист, ради чистого удовольствия, всегда мысленно подсчитывал, кто из его знакомых обязательно попадет в ад.

И вообще не известно, почему это Монтгомери Уорда надо было куда-то сажать, если его родичу – дядя ли он ему или двоюродный брат – приспичило отнять у него это дельце; ну, подержали бы его недельку-другую, а то и месяц-другой где-нибудь подальше, чтобы люди подзабыли про эти самые голые открытки или хотя бы забыли, что кто-то, по фамилии Сноупс, был замешан в это дело: ведь Флем теперь стал банкиром, он не только сколачивал себе капитал ростовщицеством, он еще должен был сколотить себе приличную репутацию.

Нет, чему Монтгомери Уорду действительно надо было удивляться (и от чего он действительно приходил в радостное удивление) – это тому, как же он до сих пор сумел продержаться. Да вовсе и не нужен был ни закон, ни Флем Сноупс, чтобы закрыть его «студию», опустить (или, вернее, поднять) шторы и навсегда ликвидировать продажу французских открыток в городе Джефферсоне, штат Миссисипи. В сущности, виноват был Гровер Уинбуш, это он оплошал: кто-то подсмотрел, как он тихонько крадется из этого переулочка в два часа ночи. Нет, в сущности, Гровер Уинбуш погубил и подорвал это дело в Джефферсоне еще с того часа, как обнаружил в одном из джефферсонских переулков черный ход в учрежденье, которое можно бы назвать бордельчиком всухую. Нет, пожалуй, дело погибло в Джефферсоне уже с того часа, как его, Гровера Кливленда Уинбуша, назначили ночным полисменом, потому что у

<sup>1</sup> Атланта, Ливенуорт, Алькатраз – тюрьмы в США.



Гровера только и хватало смекалки, чтобы служить ночным полисменом, да и то в городишке не больше Джефферсона, и чтобы спать там ложились не позже, чем в Джефферсоне, потому что из всех трудов на свете, за которые полагалось жалованье, один этот труд – стоять всю ночь, прислонясь к фонарному столбу, и глазеть на пустую площадь – только и был ему по плечу, и он мог бы заниматься такой работой до самой своей смерти (если, конечно, тот, кто устроил ему эту работенку, продержался бы до тех пор), и он никогда и ничем не повредил бы себе, или своей работе, или случайному прохожему, или всему вместе; но, разумеется, такого, как он, любой дурак застукал бы на второй или третий раз, когда он прокрадывался из переулочка.

Впрочем, это был просто неизбежный профессиональный риск, если заниматься таким делом в городишке, где ночью стоит на посту Гровер Уинбуш, и Монтгомери Уорд знал это не хуже всех, кто был знаком с Гровером. Поэтому, когда целый год дела шли гладко, без всякого постороннего вмешательства, Монтгомери решил, что если кто и видел, как Гровер раз в месяц, за последние полгода с лишком, крадется по переулочку, так, наверно, это были деловые знакомые Гровера, те, кого он накрыл в игорном притоне во время облавы или поймал с бутылкой самогона в заднем кармане. И вообще, кто знает? Может, сам Флем вовремя обезвреживал этих свидетелей, защищая не столько свои будущие интересы и предстоящие капиталовложения, потому что он, может быть, в то время еще не решил отобрать это самое ателье (так оно и называлось, Монтгомери Уорд даже на стекле у себя написал: «АТЕЛЬЕ МОНТИ»), а просто потому, что он всегда оберегал и защищал всякие коммерческие предприятия, дававшие хоть небольшую прибыль, и не только из чувства семейственности по отношению к другому Сноупсу, но из чистого принципа, хоть сам он уже был банкиром и, естественно, должен был до какой-то степени сочетать выгоду с респектабельностью, так как всякая платежеспособность идет на пользу обществу, ежели только тебя не поймают за Руку, а респектабельность ничуть не мешает процветанию выгодных предприятий, ежели только они процветают под сурдинку темным вечером.

И когда прокурор округа и шериф округа в одно прекрасное утро явились к нему, Монтгомери Уорд, конечно, подумал, что это просто-напросто судьба, самая обыкновенная судьба, и удивился он только тому, как неосмотрительно, нет, даже опрометчиво Флем Сноупс понадеялся использовать эту судьбу. Понимаете, он замешал в это дело прокурора Стивенса и шерифа Хэмптона, подстроив так, что они случайно, краем глаза, увидели эти голые открытки. Вообще-то Монтгомери Уорд никогда не вылезал из дому раньше полудня, работенка у него шла, так сказать, в ночную смену. Так что, пока прокурор и шериф ему не рассказали, он и не знал, что какие-то два типа очистили шкафчик в аптеке-кондитерской дядюшки Билли Кристиана и что все люди, видевшие грабеж с улицы через окно, не могли найти и следа этого самого Гровера Уинбуша и сообщить ему, что грабят, а когда Гровер наконец вылез от Монтгомери Уорда, то и грабители, и те, кто видел их, давным-давно убрались восвояси.

Я не говорю, что Монтгомери Уорд удивился, почему это прокурор Стивенс и шериф явились к нему первыми. Кому, как не им, приходиться, как только это его ателье лопнуло, неважно, по какой причине. Даже если бы в округе Йокнапатофа никто не слышал про Флема Сноупса, эти двое пришли бы первыми – этот наш говорун, наш правдолюб Юрист, обученный в Гарварде, а потом в Европе, во всяких заграничных университетах, он-то всегда, не оправдываясь тем, что, мол, получает жалованье и несет службу, вмешивался во все, особенно в те дела, которые его не касались и никак ему не мешали, а с ним – этот старый раззява Хэмптон, которого можно было потащить смотреть что угодно, даже убийство, если только кто-нибудь вспоминал, что он – шериф, и говорил ему, куда идти. Чего Монтгомери Уорд никак не мог взять в толк, так это какого черта на Флема Сноупса нашло такое затмение, что он поверил, будто можно подстроить так, чтобы эти голые картинки сначала оказались в руках у Стивенса и Хэмптона, а уж потом он, Флем, их отберет, – как он мог даже думать об этом?

Потому-то вера Монтгомери, его надежда на Флема Сноупса заколебалась, была, так сказать, на минуту подорвана. И в эту страшную минуту он поверил, будто сам Флем Сноупс мог стать жертвой чистой случайности и попал в этот переплет нечаянно из-за Гровера Уинбуша, как мог попасть кто угодно. Но думал он так недолго. Конечно, тот проклятый мальчишка, который видел двух грабителей в кондитерской дяди Билли, по чистой случайности пошел в кино на поздний сеанс именно в тот единственный вечер в неделю, когда Гровер Уинбуш еще разочек забежал в «Ателье» к Монтгомери Уорду. Но уж если сам Флем Сноупс был подвержен таким же гнусным незадачам и случайностям, как все мы, простые смертные, так тут хоть ложись и помирай.

Вот почему, даже когда Юрист и Хэб рассказали Монтгомери про грабителей и про мальчишку, с которого отец должен был бы спустить три шкуры за то, что он лег спать на два часа позже, Монтгомери все же ни на секунду не усомнился, что все это дело заварил Флем – сам Флем, у которого просто-напросто был такой же нюх на деньги, как у проповедника – на грешников и жареных кур; видно, Флем быстро и точно узнал, что где-то в переулочке по ночам за закрытой дверью кто-то как-то зарабатывает деньги, да к тому же таким манером, что люди издалека, из трех окрестных городов, пробираются по этому переулку и в два и в три часа ночи.

Так что Флему только и оставалось досконально выяснить, что же делается в этом переулке, почему так тайно и какая тут выгода, а потом натравить своих шпионов – хотя вовсе и не понадобился бы настоящий шпион, мало-мальски уважающий свою профессию, чтобы поймать Гровера Уинбуша, это сделал бы любой мальчишка за порцию мороженого, – чтобы те поразвели, кто ходит в переулок, пока, раньше или позже, пожалуй, скорее раньше, чем позже, им не попадется кто-нибудь такой, кого Флем мог бы обработать. Скорее всего это могло случиться раньше, чем позже, потому что по всем четырем округам, где распространилась эта торговлишка, не было почти ни одного человека из клиентуры Монтгомери Уорда, чья подпись не стояла бы под каким-нибудь денежным обязательством на имя Флема, хоть на три-четыре доллара, под сорок – пятьдесят процентов, так что Флем почти каждому мог сказать: «Да, насчет этого вашего векселька. Я бы, конечно, не дал банку с вас взыскивать, но я-то ведь только вице-президент, и мне с Манфредом де Спейном никак не сладить».

А может быть, Флем накрыл Гровера сам, поймал его, так сказать, тепленьким на месте, а не поймать этого Гровера, когда он украдкой пробирался по переулку во второй или третий раз, было уже просто невозможно, наверно, он его накрыл задолго до того, как его подвели те два типа, которые ограбили кондитерскую дяди Билли Кристиана, взламывая шкафчик на виду у всего Джефферсона, потому что половина жителей в это время шла домой с последнего сеанса, а найти Гровера, чтобы заявить о грабеже, никто не смог. Словом, Флем, очевидно, накрыл кого-то такого, кого можно было поприжать, и выпытал у него, чем именно торгует Монтгомери Уорд за закрытыми дверями. И теперь Флему оставалось только зацапать всю эту торговлишку, цапнуть ее у Монтгомери Уорда или его от нее отшить, так же, как он, Флем, зацапал все, что можно было зацапать в Джефферсоне, начав с того, что высадил меня с Гровером Уинбушем из кафе, которое мы считали своим еще в те времена, когда я сдуру думал, что с Флемом можно тягаться.

Но теперь, когда он стал банкиром, вице-президентом банка (уже не говоря о том, что он третьим появлялся в баптистской церкви каждое воскресное утро, сразу после негра, топившего печь, и самого проповедника) и вся его карьера в Джефферсоне заставляла его быть респектабельным, а это все равно, как если бы человеку в воскресном костюме пришлось продираться сквозь репы и колючки, – теперь Флему, естественно, никак нельзя было показывать, что он имеет к этому делу отношение, даже что он имеет отношение к фамилии Сноупс. Так что для Джефферсона «Ателье Монти» было закрыто, уничтожено, вычеркнуто из списка торговых предприятий навсегда, и все дело перевели в другой переулок, где о нем никогда раньше не слышали, и вел его кто-то, кто даже не знал, как пишется фамилия Сноупс. А может быть,

если у Флема хватило смекалки, все дело перевели совсем в другой город, из тех, что обслуживал Монтгомери Уорд, туда, куда было не добраться Гроверу, по крайней мере, до будущего лета, когда он пойдет в свой очередной двухнедельный отпуск.

Короче говоря, Монтгомери Уорду пришлось ждать – да, в сущности, ему ничего другого и не оставалось, как только ждать, – пока Флем решит, что пришло время вытянуть его из этого «Ателье» или оттягать это ателье у него, словом, как Флему покажется удобнее. Возможно, что перед этим Монтгомери разик-другой пожалел, что не такое у него дельце, чтоб можно было спешно все распродать, прежде чем Флем о нем пронюхает. Но товар у него был настолько неуловимый, что и существовал-то он лишь в минуту, когда его покупал и, так сказать, потреблял клиент, и Монти мог бы продать только свой, так сказать, основной капитал, а это противоречило бы всем законам экономики, у него тогда не осталось бы никакого, даже самого неуловимого, товара, нечем было бы торговать, дожидаясь, пока Флем начнет действовать, ну и, конечно, ломать себе голову насчет того, каким способом Флем его прищучит – то ли он нашел в его, Монтгомери Уорда, прошлом какую-то зацепку, загвоздку и собирается поддеть его с помощью этой зацепки, то ли он будет действовать грубо, без всякой выдумки и просто предложит ему деньги.

В общем, все это время он ждал Флема. Но кого он не ждал – так это юриста Стивенса и Хэба Хэмптона. Так что в какой-то, как говорится, молниеносный миг, когда Юрист и Хэб ворвались к нему рано утром, Монтгомери Уорд подумал, что всему причиной эта самая респектабельность, которую теперь обязан напускать на себя Флем, и положение у него теперь настолько щекотливое, настолько деликатное, что ему никак нельзя иначе – надо, чтобы все выглядело так, будто сам Закон очистил Джефферсон от сноупсовского «Ателье», и Флем, в сущности, использовал юриста Стивенса и Хэба Хэмптона только в качестве толкачей. Конечно, если бы он поразмыслил, он бы догадался, что если уж эти голые картинки попали в руки к человеку, который так печется насчет воспитания гражданственности и укрепления моральных устоев юношества, как юрист Стивенс, и к такому плотоядному, твердолобому баптисту, как шериф Хэмптон, так уж Флему ни черта не достанется от этого дела, одни благие намерения. Впрочем, когда шериф, выпятив пузо, вопьется в тебя, как иголками, своими белевыми глазками, тут уж не до размышлений и догадок, тут мозгами не пораскинешь. Так что Монтгомери Уорду было не до размышлений и догадок, он даже спокойно подумать не мог, и не удивительно, ежели в этот самый молниеносный миг он обидел своего родича Флема страшным подозрением, будто Флем дал себя обставить Стивенсу и Хэмптону, а сам Флем только и собирался выпереть его, Монтгомери Уорда, из этого дела и по наивности полагает, что сможет выдрать эти голые картинки из рук Хэба Хэмптона, если тот их рассмотрит как следует, и что в действительности толкачом оказался сам Флем.

Впрочем, даже в самом безвыходном положении у Монтгомери Уорда настолько хватило здравого смысла и соображения, не говоря уже о семейной гордости и преданности, чтобы не поверить, будто не то что двое, а хоть десять тысяч юристов стивенсов и шерифов хэмптонов могут обставить Флема Сноупса. В сущности, он мог скорее поверить не этому гнусному предположению, а тому, что Флему Сноупсу не повезло, как может не повезти любому смертному, – и не в том не повезло, что он ошибся в характере Гровера Уинбуша и подумал, будто этот Гровер может безнаказанно шляться в переулочек три-четыре раза в неделю и никто ни разу за семь-восемь месяцев его не заметит, – нет, ему в том не везло, что эти два вора выбрали для ограбления кондитерской дядюшки Билли Кристиана именно тот вечер, когда маленький Раунсвелл удрал из дому по водосточной трубе на последний сеанс в кино, чего Монти, конечно, не предвидел.

И теперь Монтгомери Уорду только и оставалось, что сидеть в тюремной камере, куда его отвел Хэб, и следить с каким-то, можно сказать, профессиональным спокойствием и любопытством, как же Флему удастся заполучить те голые картинки у Хэба. Конечно, тут понадо-

бится время, при всем его уважении к Флему, при всей фамильной гордости, он знал, что даже для Флема это не так просто, как взять, например, шляпу или зонтик. Но день кончился, а ничего такого, как он и ожидал, не случилось. Конечно, у него мелькала мыслишка – а вдруг и Флема застали врасплох и он пойдет к нему, к Монтгомери Уорду, надеясь, что тот ему хоть что-нибудь разъяснит, не зная, что Уорд сам ничего не знает. Но когда Флем не пришел и даже ничего не передал, Монтгомери стал еще гораздо больше уважать Флема и оправдывать его: все это неопровержимо доказывало, что Флему ничего от него не нужно, даже той, так сказать, моральной поддержки, какую тот только и мог ему дать.

Ждал он всю ночь, совместно со всеми, как говорят, объединенными клопами Йокнапатофского округа до самого утра. Можете себе представить, как он удивился и заинтересовался – вот именно, он не испугался, не изумился, а его просто удивило и заинтересовало, – когда один его заботливый знакомец (это был Юфус Тэбз – тюремщик, он тоже был заинтересован в этом деле, не говоря уже о том, что он всю жизнь чему-нибудь удивлялся) зашел вечером в камеру и рассказал, как Хэб Хэмптон вернулся утром в «Ателье» – проверить на всякий случай, не проглядели ли они вчера со Стивенсом какое-нибудь вещественное доказательство, – и тут же обнаружил пять галлонов самогонного виски, стоявших на полке в бутылках, в которых раньше, Монтгомери Уорд готов был поклясться, никогда ничего, кроме проявителя, не было.

– Теперь тебя отправят не в Атланту, а в Парчмен, – сказал Юфус, – а это уж не такая даль. Не говорю уж о том, что тюрьма эта в штате Миссисипи, значит, и тюремщик там свой, коренной уроженец Миссисипи, пусть хоть он попользуется деньгами, что выдадут на твой прокорм, а то эти проклятые судьи то и дело отправляют наших коренных миссисипских жуликов куда-то вон из штата. А там чужаки, бог весть кто, на них зарабатывают.

Он не испугался, не изумился, просто его все это удивило и заинтересовало, даже главным образом заинтересовало, потому что Монтгомери Уорд отлично знал, что, когда он со следователем и шерифом в то утро уходил из «Ателье», на полке в бутылках ничего, кроме проявителя, не было, знал, что и Хэбу Хэмптону, и юристу Стивенсу тоже известно, что там ничего другого нет, потому что, если человек распространяет картинки в Джефферсоне, в штате Миссисипи, то осложнять дело торговлей самогонным виски – значит нарываться на неприятности, все равно как если бы владелец игорного притона вздумал в том же помещении поставить станок для печатания фальшивых денег.

А главное, Монтгомери ни на минуту не усомнился, что это виски подкинул Флем, именно туда, где шериф должен был наткнуться на эти бутылки, и тут его восхищение Флемом, его уважение подскочило до высшей точки, потому что он знал, что теперь, когда Флем стал банкиром и о своей репутации ему надо заботиться не меньше, чем невинной девице, которая вдруг очутилась ночью одна, без гувернантки, среди пьяных коммивояжеров, ему, Флему, нипочем нельзя самому иметь дело с местными бутлегерами и, наверно, пришлось ездить за самогоном во Французову Балку, а то и на Девятый участок, к Нэбу Гаури, да еще платить двадцать или двадцать пять долларов своих кровных денежек. А может быть, на какую-то долю секунды, у Монтгомери мелькнула мыслишка, что раз Флем мог заплатить двадцать, а то и двадцать пять долларов, значит, в нем, где-то внутри, еще живы самые обыкновенные родственные чувства. Но, конечно, мыслишка эта только мелькнула на какую-то долю секунды, а то и меньше, потому что, даже если за Флемом водились какие-нибудь слабости и недостатки, все равно он никогда не дойдет до того, чтобы выкинуть двадцать долларов ради кого-нибудь из Сноупсов.

Нет, раз Флем потратил двадцать пять или тридцать долларов, значит, все оказалось не так-то просто, как он ждал и рассчитывал. Но тот факт, что он, и дня не промешкав, сразу выложил деньги, показывал, что в окончательном результате Флем не сомневался. Естественно, что и Монтгомери Уорду тоже сомневаться не приходилось и даже гадать не стоило, что будет, а надо было просто ждать, потому что теперь за него весь город гадал, что будет, и не просто

следил за тем, что делается, а ждал развязки. И выследил: все видели, как на следующий день Флем пересек площадь, свернул к тюрьме, вошел туда и через полчаса оттуда вышел. И назавтра Монтгомери тоже вышел оттуда – Флем внес за него залог. А еще через день в город приехал некто Кларенс Сноупс – сенатор Кларенс Эгглстоун Сноупс, – теперь он сидел в законодательном собрании штата, а раньше служил констеблем во Французовой Балке, пока во имя закона он рукояткой револьвера не избил человека, который оказался настолько злопамятным и мстительным, что возмутился – как это его смеет бить револьвером какой-то тип только потому, что носит бляху констебля и ростом выше него. Пришлось дядюшке Биллу Уорнеру как-то вызвать Кларенса, и он заручился поддержкой Флема, а того поддержал Манфред де Спейн, банкир, и они все трое заручились поддержкой еще всяких людей, потому и удалось пристроить Кларенса в законодательное собрание в Джексоне, где он даже не знал, что ему делать, так что кто-то, кому и дядя Билл и Манфред доверяли, подсказывал ему, когда ставить подпись и когда поднимать руку.

Но, как говорил юрист Стивенс, он еще раньше нашел свое истинное призвание в жизни: в один прекрасный день он поехал из Французовой Балки в город и увидел, что злачные места разрослись далеко за Джефферсон, к северо-западу, захватив даже окраины Мемфиса, штат Теннесси, – там, где улицы Малберри, Гейозо и Понтоток <sup>2</sup>, – так что, когда он через три дня вернулся в поселок, у него все еще волосы стояли дыбом и глаза окончательно вылезли на лоб, как будто он все время повторял про себя: «Сто чертей! Сто чертей! Почему мне раньше не сказали? И давно это так?» Но он быстро наверстал упущенное. Можно сказать, он даже перекрыл упущенное, потому что теперь, каждый раз, как он ездил из Французовой Балки в Джексон и обратно, через Джефферсон, он заезжал и в Мемфис, так что он стал, как говорил юрист Стивенс, почетным потомственным венерическим посланником от улицы Гейозо на весь северный округ штата Миссисипи.

И когда через три дня Монтгомери Уорд вместе с Кларенсом сели на поезд номер шесть – он шел на север, – мы только и знали, что Кларенс едет через Мемфис в Джексон или на Французову Балку. Но нас главным образом интересовало, что прятал Монтгомери в своем «Ателье» такое, чего даже Хэб не нашел и за что Флему Сноупсу не жалко было выдать две тысячи залогов, а потом отправить этого Монтгомери в Мексику или куда он там собирался. Так что нам не только было любопытно и странно – любопытно-то оно было, но мы просто рты разинули от удивления и мозги у нас заработали, как машины, когда два дня спустя Кларенс и Монтгомери вылезли из поезда номер пять – он шел на юг – и Кларенс отвез Монтгомери Уорда к Флему, а сам уехал в Джексон или во Французову Балку, словом, туда, откуда ему в следующий раз сподручней будет заехать на улицу Гейозо, в Мемфис. А Флем поручил Монтгомери Уорда тюремщику Юфусу Тэбзу, и тот отвел его в тюремную камеру, а залог в две тысячи вернули, а может, только отдали на время, как вешают на вешалку парадную шляпу до следующей свадьбы или похорон, словом, пока не понадобится.

А тот – я говорю про Юфуса, – очевидно, поручил Монтгомери Уорда своей жене, миссис Тэбз. Мы даже слышали, что она повесила старую занавеску на окошко камеры, чтоб солнце не будило Монтгомери слишком рано. И каждый раз, как юрист Стивенс, или Хэб Хэмптон, или еще кто из представителей закона хотели переговорить с Монтгомери Уордом, его скорей всего находили в кухне у миссис Тэбз, где он, подвязавшись ее фартуком, лущил горох или чистил кукурузу. И мы – ну, скажем, и я – вроде как бы случайно проходили мимо тюремной ограды, и, конечно, там оказывался Монтгомери – он и миссис Тэбз, на огороде, – Монтгомери рыхлил грядки, не очень-то ловко, но все-таки тыкал тяпкой, куда показывала миссис Тэбз.

– Может, она хочет вывести про те открытки, – сказал мне как-то Гомер Букрайт.

– Что-о? – говорю. – Миссис Тэбз?

<sup>2</sup> Улицы Малберри, Гейозо и Понтоток – район публичных домов в Мемфисе.

– Ну конечно, ей любопытно, – говорит Гомер. – Не человек она, что ли, даром что женщина!

А три недели спустя Монтгомери Уорда судил судья Лонг, и судья Лонг засадил его на два года в каторжную тюрьму, в Парчмен, за незаконное владение одной бутылкой для про-явителя, содержащей один галлон самогонного виски, каковое вещественное доказательство было представлено суду.

Так что все ошиблись. И вовсе Флем не затем внес две тысячи залогу, чтобы вычистить Монтгомери Уорда из Соединенных Штатов Америки, и вовсе он не затем истратил двадцать пять или тридцать долларов на самогон «Белый мул», чтобы в Атланту, тюрьму штата Джорджия, не послали человека по фамилии Сноупс. А истратил он эти самые двадцать пять или тридцать долларов для того, чтобы суд послал Монтгомери Уорда именно в тюрьму Парчмен, тогда как иначе его без всяких затрат отправили бы в тюрьму в штат Джорджия. А это было уже не только удивительно, но и здорово любопытно, больше того – здорово интересно. И вот на следующее утро я случайно оказался на станционной платформе, как раз к приходу поезда номер одиннадцать, шедшего на юг, и, разумеется, там стоял Монтгомери Уорд и Хантер Килгрю, помощник шерифа, и я сказал Хантеру:

– Может, тебе надо пройтись в умывалку, а то скоро поезд подойдет, ехать-то ведь долго. Я посторожу Монтгомери Уорда за тебя. И вообще, ежели человек не сбежал, когда за него внесли залог в две тысячи, так неужто он сейчас станет удирать, когда его только наручники и держат?

Тут Хантер отдал мне свой наручник и отошел в сторону, а я и говорю Монтгомери Уорду:

– Значит, все-таки отправляетесь в Парчмен? Это куда лучше. Мало того что вы не отнимаете у ростовщика законный и естественный приработок с коренной миссисипской пищи, которую коренной миссисипский тюремщик будет скармливать коренному миссисипскому заключенному, вам и скучно там не будет, ведь там у вас сидит коренной миссисипский дядюшка или двоюродный брат, с ним можно провести время, свободное от полевых работ или еще каких дел. Как же его звать? Да, да, Минк Сноупс, он ведь ваш дядюшка или двоюродный брат, у него еще были мелкие неприятности за то, что он убил Джека Хьюстона. Он все ждал, что Флем успеет вернуться из Техаса и вызволит его, только Флем был другим занят, и видно было, что Минк здорово расстроился. Кем же он вам приходится, дядюшкой или братом двоюродным?

– Чего? – говорит Монтгомери Уорд.

– Кем же? – говорю.

– Что кем же? – говорит Монтгомери Уорд.

– Дядя он вам или двоюродный? – говорю.

– Чего? – говорит Монтгомери Уорд.

## 4. МОНТГОМЕРИ УОРД СНОУПС

– Значит, этот сукин сын вас обдурил, – сказал я. – Вы думали, что его повесят, а его только засадили пожизненно.

Он ничего не ответил. Сидел молча на кухонной табуретке, которую сам принес из кухни Тэбзов. Для меня в камере стояла только койка – для меня и, конечно, для клопов. Сидел молча, а тень от решетки полосовала его белую рубаху и этот гнусный десятицентовый галстук бабочкой – говорили, что этот же галстук на нем был шестнадцать лет назад во Французовой Балке. А другие говорили – нет, это не тот самый галстук, который он взял в лавке Уорнера и надел в тот день, когда ушел с фермы и поступил приказчиком к Уорнеру, не тот, в котором он венчался с этой потаскушкой, Уорнеровой дочкой, а потом носил в Техасе, дожидаясь, пока она выродит своего ублюдка, и в этом же галстук приехал домой – в то время он еще носил маленькую суконную кепку, как у четырнадцатилетнего мальчишки. А потом – черную фетровую шляпу, ему сказали, что банкиры носят такие, но кепку он не выбросил: он ее продал негритенку за цент, вернее, заставил того отработать, а шляпу эту он в первый раз надел три года назад и, как говорят, с тех пор не снимал ее никогда, даже дома, ну, разве что в церкви, и она была как новая. Да, с виду она была совсем неношенная, даже не пропотела, хоть носил он ее денно и ночью три года, может, и с женой ложился при шляпе, ей-то, наверное, это было не в диковину, наверно, она и не к тому привыкла, те, что с ней ложились, наверно, и перчаток не снимали, не говоря уж о шляпах, башмаках и куртках.

Сидел передо мной и жевал. Говорят, когда он поступил приказчиком к Уорнеру, он жевал табак. А потом дознался про деньги. Нет, он про них и раньше слышал, ему они даже перепали изредка. Но тут он в первый раз дознался, что деньги могут прибывать с каждым днем и сразу их не съешь, хоть бы ты жрал двойные порции жареной свинины с белой подливкой. И понял он не только это: оказывается, деньги – штука прочная, крепче кости и тяжелее камня, и если зажать их в кулак, то уж больше, чем ты сам захочешь отдать, у тебя никакой силой не вырвешь, и тут он понял, что не может себе позволить каждую неделю сжевывать целых десять центов, да к тому же он открыл, что десятицентового пакетика жевательной резинки хватит недель на пять, если начинать новую пластинку только по воскресеньям. Потом он переехал в Джефферсон и тут увидел настоящие деньги. Понимаете – много зараз, и еще увидел, что нет предела, сколько денег можно заграбастать и не выпускать из рук, главное, лишь бы денег было побольше и лишь бы у тебя нашлось верное, надежное место, куда их высыпать из горсти, чтобы освободить руки и снова загребать. Тут-то он и сообразил, что даже один цент в неделю сжевывать нельзя. Когда у него ничего не было, он мог себе позволить жевать табак, когда у него денег было мало, он мог себе позволить жевать резинку, но когда он сообразил, до чего можно разбогатеть, если только раньше не помрешь, он себе позволял жевать одну лишь пустоту, и сейчас он сидел на кухонной табуретке, тень решетки полосовала его поперек, и он жевал пустоту, не глядя на меня, вернее, вдруг перестал глядеть на меня.

– Пожизненно, – говорю, – то есть, как теперь считается, двадцать лет, если только за это время ничего не случится. Сколько же лет прошло? Кажется, это было в девятьсот восьмом, он еще тогда целыми днями торчал в окне тюрьмы, может, даже вот в этом самом, ждал, пока вы вернетесь из Техаса и вызволите его, ведь из всех Сноупсов только у вас хватало и денег и дружков, так он, по крайней мере, считал, и он каждого прохожего окликал, просил передать вам в лавку Уорнера, чтоб вы пришли и выручили его, а потом на суде весь последний день ждал вас, надеялся, а вы не пришли. С девятьсот восьмого, сейчас девятьсот двадцать третий – а всего ему сидеть двадцать лет, значит, скоро он выйдет. Черт меня дери, значит, вам и жить-то осталось всего пять лет, верно? Ну хорошо. Чего же вы от меня хотите?

Он мне сказал – чего.

– Ну хорошо, – сказал я. – А что я за это получу?

Он мне и это сказал. Я стоял, прислонясь к стене, и смеялся над ним. Потом я ему все выложил.

Он и не пошевелинулся. Он только перестал жевать и повторил:

– Десять тысяч долларов?

– Значит, это вам слишком дорого, – говорю, – значит, вы свою жизнь цените в пятьдесят долларов, да и то товарами и в рассрочку? – Он сидел, исполосованный тенью решетки, жевал пустоту и смотрел на меня, а может, просто в мою сторону. – Даже если дело выгорит, вы в лучшем случае добьетесь, что ему удвоят срок, добавят еще двадцать лет. Значит, в девятьсот сорок третьем году вам опять все начинать сначала, опять беспокоиться, что жить осталось всего пять лет. Лучше уж перестаньте вынюхивать и выпытывать, как бы подешевле торговаться. Покупайте все первым сортом: вам это по карману. Выкладывайте десять косых наличными, и пусть его прикончат. Насколько мне известно, за такие денежки весь Чикаго будет рвать из рук эту работку. Впрочем, черт с ними, с десятью тысячами, и черт с ним, с Чикаго. И за одну тыщонку можете здесь же, в штате Миссисипи, в самом Парчмене, заставить десять верных парней тянуть жребий, кому первому прикончить его выстрелом в спину.

Но он все жует, никак не перестанет.

– Вот оно как, – говорю, – значит, бывает такое, чего даже Сноупс сделать не решится. Впрочем, что это я: не постеснялся же наш дядя Минк помириться с Джеком Хьюстоном при помощи ружья, когда сыр слишком круто забродил. Вернее, я хотел сказать, с каждым Сноупсом может разок и так случиться, что он тебе ничего не сделает – главное, пока он тебя не разорил и не сгубил, заранее узнать, чего он не станет делать. Ладно, пусть будет пять, – говорю, – торговаться я не буду. Черт с ним, мы же родственники, верно?

Тут он на миг перестал жевать и повторил:

– Пять тысяч долларов.

– Ну ладно, я же знаю, что у вас наличных при себе нету – говорю. – Да они вам сейчас и не нужны. Адвокат сказал, что времени у вас два года, успеете их набрать, закладывайте, продавайте, крадите, что там надо закладывать, продавать или красть.

Это до него дошло, – по крайней мере, я так подумал. До меня самого не все сразу доходит, и так бывает, и не так, чаще всего не так. И тут он вдруг сказал:

– Тебе не придется сидеть два года. Я тебя освобожу.

– Когда? – говорю. – Когда вы будете спокойны, что ли? Когда я ему испорчу остаток жизни, засажу еще на двадцать лет? Нет, не пойдет. Не выйду я оттуда. И даже те пять тысяч не возьму – это я вас дразнил. Мы вот как сделаем. Я туда отправлюсь, все устрою, засажу его на столько лет, на сколько удастся. Но сам я оттуда не выйду. Сначала отсижу там свои два годика, дам вам время, понятно? Потом уж выйду, вернусь домой. Все как полагается, сами знаете: начну новую жизнь, заглажу свое позорное прошлое. Конечно, работы у меня не будет, дела никакого, но, в конце концов, не зря же существует собственный двоюродный брат собственного моего папаша, который растет не по дням, а по часам, подымается все выше и в банке, и в церкви, и в общественном мнении, и в материальном положении, и черт его знает в чем еще, а родная кровь – не водица, хоть ваш кровный родственник и вернется из тюрьмы, где сидел за незаконную торговлю виски, уж не говорю о том, что в нем вдруг может заговорить самолюбие и он не захочет принимать подачки от своего вполне почтенного кровного родственника – банкира, и может, ему взбредет в голову опять открыть свое старое, малопочтенное, но до черта выгодное дельце. Потому что такого товару я могу достать сколько влезет, а уж охотники найдутся, им только скажи, куда приходить, и к тому же на этот раз, может быть, бутылки с проявителем не будут стоять где попало. А если и будут – хрен с ним. Два годика отсидеть – и я опять тут как тут, опять готов перевернуть эту самую новую страницу жизни...



Он сунул руку во внутренний карман и сказал: «М-да», – еще не тем манером, как он потом научился, но если бы уже научился, наверно, так бы и сказал. А он просто сказал: «М-да, я так и думал», – и вытащил конверт. Ну конечно, я сразу узнал его. Конверт был мой, в левом углу напечатано «Ателье Монти», Джефферсон, Миссисипи. Сбоку – погашенная марка, почтовая печать, как выгравированная, и адрес: М-ру Г.-К.Уинбушу, городское управление, так что я сразу понял, что там, внутри, прежде чем Флем вытащил ее, ту фотографию, которую Уинбуш выклянчил у меня за пять монет для своей, как говорится, личной коллекции, хоть я и отказывался, потому что связываться с ним было рискованно. Но, черт его дери, все же он был блюстителем порядка, так, по крайней мере, считалось, в нашем переулке часа в два-три ночи. Да, забыл: письмо явно побывало на почте, хоть я его никогда не опускал в ящик, но пошло оно не дальше этой самой штемпелевальной машины в джефферсонском почтовом отделении. А так как у Г.-К.Уинбуша уже были неприятности из-за того, что он сидел у меня в задней комнате и не дал, как он говорил, вышибить себе мозги тем грабителям, которые обворовывали старого занюханного Билли Кристиана, то не понадобился Саймон Легри <sup>3</sup>, чтобы выпытать у него про фотографию и отобрать ее, и, уж конечно, можно было запросто заставить его свидетельствовать как угодно и против кого угодно. Дело в том, что у него имелась супруга, и достаточно было только намекнуть Уинбушу, что ей покажут эту фотографию: она была из тех жен, которых никакая сила не могла бы разубедить, что дамочка на фото – в этот раз ее сфотографировали одну, и она ничего такого не делала, просто стояла в чем мать родила, – что эта дамочка не только закадычная подружка Уинбуша, но и что он сам едва успел отскочить, чтоб не попасть на фото без брюк. И не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, какой приговор вынесет в федеральном суде этот старый ханжа с лошадиной челюстью, когда увидит конверт с почтовым штемпелем.

– Да, видно, козыри у вас на руках, – говорю. – Пожалуй, я и объявлять игру не стану. Видно, только и остается спасовать. Значит, после того как я туда попаду и его прищучу, вы меня вызволите. А что потом?

– Билет куда угодно и сто долларов.

– Хоть бы пятьсот, – говорю. – Ладно, не стоит торговаться. Пусть будет двести пятьдесят.

А он и не стал торговаться.

– Сто долларов, – говорит.

– Только сначала мне надо хотя бы взять из общего котла свою долю, – говорю. – Если мне целый год сидеть взаперти на этой распроклятой казенной хлопководческой ферме...

Тут он торговаться не стал, нет, надо ему отдать справедливость.

– Я об этом подумал, – говорит. – Все устроено. Завтра тебя выпустят под залог. Кларенс тебя захватит по дороге в Мемфис. Два дня в твоём распоряжении. – Ей-богу, он и об этом подумал. – Деньги будут у Кларенса. Вполне достаточно.

По его достаточно или по-моему – неизвестно. Но в общем, теперь уже никто больше ни над кем не издевался. Я стоял и смотрел на него – сидит на кухонной табуретке, жуёт, ни на что не смотрит, и жуёт-то он пустоту, а те, кто его знал, говорили, что он ни разу в жизни глотка спиртного не выпил, а вот решился же закупить на тридцать или сорок долларов виски, засадить меня в Парчмен, чтобы я навредил Минку, и, как видно, готов был еще сотню истратить (а может, и две, если он собирался и за Кларенса платить) мне в утешение за то, что просижу в Парчмене столько, сколько надо, чтобы как следует навредить Минку, не дать ему выйти через пять лет: и вдруг я понял, что меня в нем сбивало с толку с тех самых пор, как я стал настолько взрослым, чтоб в таких делах разбираться.

– Так вы, значит, импотент? – говорю. – Значит, вы никогда в жизни с женщиной и не спали? Вы и женились только тогда, когда нашлась такая, которую уже до вас испортили, такая,

<sup>3</sup> Саймон Легри – жестокий рабовладелец из романа Г.Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

что вам и дотронуться до себя не позволит. А жить-то вам все равно охота, черт меня дерит! Только зачем? – А он сидит, молчит. Сидит, жует пустоту. – Кстати, к чему вам тратиться и на Кларенса? Даже если он предпочитает негритянские бордели, где высшая цена – доллар, вам все равно придется выложить порядочно, если Кларенс возьмется за работу. Отдайте деньги и отпустите меня одного! – Но не успел я сказать, как тут же понял, что он ответит. Не мог он рисковать, отпустить меня хоть за милую от Джефферсона одного, без надзора, без уверенности, что я вернусь, даже когда у него в кармане лежал тот проштемпелеванный конверт с карточкой. Он-то знал, что этого достаточно, и все же не решался рискнуть. Не посмел. Да, не посмел, даже в его годы, убедиться, что самый простой способ заставить девять человек из десяти делать по-вашему – это доверять им.

Тэбз знал, что меня выпустят под залог, потому и хотел меня выставить в тот же вечер, чтоб прикарманить деньги за мой ужин, надеялся, в суматохе никто не заметит, но я ему сказал: «Нет, благодарю. Вы, говорю, зря петушитесь. Я служил (или, во всяком случае, прислуживал) в американской армии. И если вам кажется, что тут у вас для такого, как я, место неподходящее, так посмотрели бы вы, где мне приходилось спать», – а Тэбз все стоит в дверях камеры, в одной руке у него ключи, а другой затылок чешет. «Но одно вы можете сделать. Пойдите-ка и принесите мне приличный ужин, мистер Сноупс за него заплатит, мои богатые родичи меня уже простили! И, кстати, захватите мемфисскую газетку». Он повернулся и пошел, а я ему ору вдогонку: «Эй, вернитесь! Заприте дверь. Не желаю, чтоб весь Джефферсон сюда набился, хватит и одного сукина сына в этой собачьей конуре!»

А на следующее утро явился Кларенс, Флем выдал ему деньги, и в тот же вечер, мы, вернее, я оказался в Мемфисе, в гостинице «Тиберри».

Кларенс знал один притон, где он был постоянным посетителем, там можно было остановиться всего лишь за доллар в день, хотя деньги чужие. А всякий, наверно, решил бы, что раз это деньги Флема, значит, любой из Сноупсов согласится спать даже на голой земле, лишь бы с Флема за этот ночлег содрали вдвое больше.

– Ну, что дальше? – спросил Кларенс. Вопрос, как говорится, был чисто риторический. Он-то знал, что дальше, вернее, считал, что знает. Он все заранее рассчитал. У Кларенса была одна хорошая черта – он никогда никого не подводил. Не получалось: каждому, кто с ним стал-кивался, заранее было известно, что он сукин сын, недаром он мне приходился единокровным братом.

А в прошлом году Вирджил (правильно: Вирджил Сноупс, вы угадали, младший сын дядюшки Уэсли – того самого регента хора, которого поймали после церковной службы в пустом складе с четырнадцатилетней девчонкой, его тогда вывалили в перьях и смоле и выкинули в Техас или еще куда-то, словом – вон из округа Йокнапатофа: Вирджил унаследовал его способности) вместе с Фонзо Уинбушем – он, кажется, племянник моего клиента – отправились в Мемфис поступать в парикмахерское училище. Кто-то, наверно, миссис Уинбуш, – она была не из Сноупсов, – очевидно, учила их снимать комнату, только когда по хозяйке видно, что она человек зрелый, верующая христианка, а главное – что в ней есть что-то материнское.

Наверно, они так и кружили вокруг вокзала со своими чемоданчиками, пока не прошли мимо дома Рэбы Риверс, как раз в то послеобеденное время, когда она выводила погулять двух своих злющих грязно-белых собачонок, которых она назвала мисс Рэба и мистер Бинфорд в честь Люшьюса Бинфорда – он был ее сутенером, а потом они оба постарели, зажили мирной жизнью, и все соседи – и полисмен, и мальчишка, что носил молоко и получал за газету, и шофер грузовика из прачечной – величали Люшьюса хозяином до самой его смерти.

Вид у нее, конечно, был достаточно зрелый, особенно в халате, в котором она выходила после обеда, и по ее разговору тоже можно было догадаться, что хотя она, может быть, и недостаточно верующая, но про бога и душу знает, особенно если подойти поближе и послушать, как она разговаривает со своими собачонками, когда выпьет лишку; и вообще, по-моему, во

всякой женщине весом около двухсот фунтов да еще в халате, кое-как заколотом английскими булавками, даже когда она вышибает пьяного, есть что-то материнское – особенно для двух восемнадцатилетних мальчишек из Джефферсона, штат Миссисипи.

Может, в ней и на самом деле было что-то материнское, и Вирджил с Фонзо в своей детской невинности увидели в ней то, чего мы, ее старинные, давнишние клиенты и приятели, никак не могли заметить. А может, они по этой своей простой, сельской йокнапатофской малолетней неискушенности беспрепятственно зашли туда, где даже ангел предварительно сдал бы на хранение свой бумажник. Словом, они зашли, спросили, есть ли свободная комната, и она им отвела одну из комнат. Наверно, они уже успели распаковать свои картонные чемоданишки, когда она сообщила, что они и не подозревают, куда попали.

А ведь ей надо было платить аренду, подкупать полицейских и поставщиков пива, оплачивать стирку и по субботам что-то подбрасывать Минни, служанке, уже не говоря о том, что надо было подновлять свои громадные желтые бриллианты, чтоб они не так напоминали осколки пивных бутылок, а тут эти невинные йокнапатофские младенцы, и вокруг то девчонки бегают в умывалку в одних ночных рубашках, в халатиках или вовсе так, то клиенты шныряют без конца, то Минни носится с полотенцами, с кружками джина по лестнице, то девки орут и дерутся, волосы друг у дружки выдирают из-за гостей, из-за своих котов, из-за денег, то сама мадам Рэба ругает какого-нибудь пьяного на чем свет стоит, старается его выставить, пока не нагрянула полиция. Но не прошло и недели, как она навела в доме порядок, и там бывало тихо, как в пансионе для благородных девиц, до той минуты, когда Вирджил и Фонзо закрывались у себя в комнате и, как она надеялась, крепко засыпали.

Конечно, долго так продолжаться не могло. Во-первых, они ходили в это парикмахерское училище и там слушали парикмахерские разговорчики целыми днями, а, как известно, даже за те тридцать минут, что тебя стригут, и то можно услышать достаточно всякой жеребятины. А потом они возвращались в этот дом, а там мелькает чья-то нога, или в дверях показывался хвостик рубашки или голая женская спина, так что у них, конечно, через некоторое время что-то в мыслях зашевелилось, хотя они по-прежнему считали, что все барышни – племянницы или воспитанницы мадам Рэбы и, может быть, тоже приехали в город учиться в парикмахерском училище, только, конечно, в дамском. Уж я не упоминаю о том чистейшем нюхе, который Вирджил и Фонзо (я вам говорил, что Фонзо – племянник Гровера Уинбуша?) унаследовали из чистейших первоисточников.

Словом, на втором месяце все переменялось. А так как мемфисский район красных фонарей не столь уж велик, то с течением времени они оба встретились с Кларенсом в том же заведении, в тот же час, потому что Вирджил и Фонзо все еще учились и не зарабатывали, и им приходилось бывать где подешевле. А тут у Вирджила открылся совершенно исключительный мужской талант, и в своем юношеском энтузиазме и невинности он проявлял его не только ради удовольствия, а еще платил деньги, пока Кларенс не открыл в нем этот талант и не стал его эксплуатировать.

Он, Кларенс, обычно шатался по бильярдным и по холлам тех гостиниц, где останавливался, пока не находил простачка, который отказывался верить его похвальбам насчет – как бы это сказать? – мощи его подшефного, и тогда Кларенс держал с ним пари: в первый раз жертва даже давала ему фору. Конечно, случалось, что Вирджил и подводил...

– И платил половину пари, – сказал я как-то.

– За что? – удивился Кларенс. – За то, что мальчик так старается? Да и подводит он меня куда как редко, день ото дня совершенствуется. Какую карьеру этот мальчишка может сделать, лишь бы хватило двухдолларовых девиц!

Словом, он и мне предложил вечером заняться этим делом.

– Нет, – говорю, – большое спасибо, ты иди, а я навещу посемейному одну старую приятельницу, а потом лягу спать. Дай мне двадцать пять, нет, пожалуй, тридцать долларов из тех денег, что Флем мне выдал – из сотни. С меня и тридцати хватит, – говорю.

– Какого черта? – говорит. – Половина твоя – и все. Не желаю, чтобы в Джефферсоне ты наврал про меня Флему бог знает что. Бери!

Я взял деньги.

– Завтра встретимся на вокзале перед отходом поезда.

– Что? – говорит.

– Я завтра еду домой. А ты можешь и не ехать.

– Но я же дал слово Флему, что пробуду тут с тобой и привезу тебя обратно.

– Плюнь! – говорю. – Деньги-то уже у тебя, пятьдесят долларов!

– В том-то и штука! – говорит. – Презираю того подлеца, который деньги берет, а потом наплюет на свое честное слово!

Среда – день спокойный, если только в городе нет никаких съездов, может быть, еще и потому, что многие из девиц (и из клиентов тоже) родом из маленьких городишек в штатах Теннесси, Миссисипи и Арканзас и росли в баптистских и методистских семьях, и потому во всех притонах, заведениях и домах ввели – как это? – аналогичное расписание, как для молитвенных собраний, и среди недели выкраивали спокойный денек.

– На звонок мне открыла Минни. На ней была шляпа вроде футбольного шлема, такая, что всю голову закрывала.

– Добрый вечер, Минни, – говорю. – Гулять собралась?

– Нет, сэр, – говорит. – А вы уезжали? Что-то вас давно не видно.

– Много дела, – говорю.

И Рэба тоже спросила, где я был. В доме стояла тишина, в столовой – только Рэба, какая-то новенькая и один гость, пиво пьет. На Рэбе все ее огромные желтые бриллианты, но при этом она в халате, а не в вечернем платье, в каком она ходила по субботам. Халат был новый, но все равно держался на английских булавках. Я и ей ответил то же самое.

– Много дела, – говорю.

– Мне бы так, – говорит, – а то у меня стало как в воскресной школе. Знакомьтесь – капитан Страттербек.

Капитан был высокий, грузноватый, с лицом, как у ломовика, знаете, из тех, что стараются держать себя нагло, но не уверены, какое впечатление это произведет: глаза у него были светлые, взгляд злой, только смотреть обоими глазами сразу в одну точку он никак не мог. Лет ему было под пятьдесят.

– Капитан Страттербек участвовал в двух войнах, – объяснила Рэба. – В той, испанской, двадцать пять лет назад, и в этой последней <sup>4</sup>. Он как раз нам про нее рассказывал. А это Тельма. Поступила к нам на прошлой неделе.

– Привет, – сказал Страттербек. – Вы тоже из наших ребят?

– Более или менее, – говорю.

– Какой части?

– Лафайетовской эскадрильи <sup>5</sup>.

– Лафа... Это кому же лафа? А-а, эскадрилья – летчик, значит. Сам я в авиации не служил. Был кавалеристом на Кубе, в девяносто восьмом, а в шестнадцатом находился на границе, но призвали, понимаете, не попал в регулярную армию: был вроде как гражданский помощник

---

<sup>4</sup> Имеются в виду испано-американская война 1898 г. и первая мировая война 1914-1918 гг.

<sup>5</sup> Лафайетовская эскадрилья – эскадрилья, сформированная из добровольцев города Лафайет (США) и участвовавшая в Европе в боевых действиях во время первой мировой войны.

Черного Джека <sup>6</sup>, я всю округу вот как знаю. А когда Джека решили послать во Францию, там командовать, он мне говорит – если попаду туда, чтобы непременно отыскал его, он мне найдет работу. И когда я услышал, что Рик, то есть Эдди Рикенбекер, ас, – объяснил он Рэбе и новенькой, – он был шофером у генерала, так когда я услышал, что Рик ушел от генерала в авиацию, я решил – вот наконец мне повезло, но хоть я и попал за море, но у генерала уже был другой шофер, сержант, забыл, как его звали. А я оказался без должности. Но кое-что я повидал из кузова машины, так сказать, видел и Аргонну, и Шомон, и Ваймиридж, и эту, как ее, Шато-Теорию <sup>7</sup>, да вы, наверно, тоже побывали в самом пекле. Где вы были расквартированы?

– В АМХе <sup>8</sup>, – говорю.

– Что? – говорит. И встает, совсем медленно. Высокий такой, довольно грузный, а сам все никак не может смотреть обоими глазами разом в одну точку. Видно, хочет меня напугать. Но тут Рэба тоже встала. А он говорит: – Вы что, смеетесь надо мной?

– Почему? – спрашиваю. – Разве так не бывает?

– Ладно, ладно, – говорит Рэба. – Можете вы пойти наверх с Тельмой или нет? Если нет, а у вас по большей части так и бывает, вы ей скажите.

– Не знаю, пойду или нет, – говорит. – А сейчас я думаю, что...

– Сюда люди не думать ходят, – говорит Рэба, – сюда идут для другого. Пойдете вы с ней или нет?

– Ладно, ладно, – говорит. – Пойдем, – это он Тельме. – Мы еще с вами увидимся, – это мне.

– После следующей войны, – говорю. Он с Тельмой вышел. – Зачем вы его пускаете? – спрашиваю.

– А он получает пенсию за ту испанскую войну, – говорит Рэба, – сегодня ему прислали. Сама видела, он еще расписался на обороте, чтоб я могла за него получить деньги.

– Сколько? – спрашиваю.

– Да я не посмотрела, что там на другой стороне. Проверила, чтоб он расписался, где указано. Денежное извещение от казначейства, от правительства США. Какие же могут быть сомнения, раз это почтовое извещение от правительства США?

– Почтовое извещение может быть и на один цент, – говорю, – если можешь оплатить почтовые расходы. – Она смотрела на меня. – Он просто расписался на клочке синей бумаги и сунул его обратно в карман. Наверно, и ручку у вас одолжил. Правильно?

– Ну, будет вам, – говорит. – Что же теперь делать? Пойти наверх и сказать: «Эй, любезный, убирайся отсюда!»

Минни принесла еще бутылку пива. Для меня.

– А я пива не заказывал, – говорю. – Может, надо было вам сразу сказать? Сегодня я денег тратить не собираюсь.

– Я угощаю, – говорит. – А зачем вы пришли? Ссору с кем-нибудь затеять, что ли?

– Только не с ним, – говорю. – Он даже фамилию себе взял из книжки. Не помню, из какой, но получше той, откуда он начитался про войну.

– Ну, будет, будет, – говорит. – А какого черта вы ему сказали, где вы живете? Кстати, зачем вы там остановились?

– Где это? – спрашиваю.

– В АМХе. Ходят тут ко мне всякие малолетние субчики, которым и взаправду место в АМХе, не знаю, там они останавливаются или нет. Но уж хвастать этим никто не хвастает.

– Нет, я живу в «Тиберри», – говорю. – Это я во время войны пристроился в АМХе.

---

<sup>6</sup> Черный Джек – прозвище американского генерала Джона Першинга, участника первой мировой войны.

<sup>7</sup> Исканж. Шато-Тьерри, город во Франции, район ожесточенных боев во время первой мировой войны.

<sup>8</sup> АМХ – Ассоциация молодых христиан.

– В АМХе? Во время войны? Да они не воюют. Вы и надо мной вздумали потешаться, что ли?

– Знаю, что не воюют. Потому-то я к ним и записался. Гэвин Стивенс, юрист из Джефферсона, может подтвердить. Вы его спросите в следующий раз, если только он к вам придет.

Вошла Минни с подносом, на нем – два стакана джина. Она ничего не сказала, только остановилась в дверях, где Рэба ее могла видеть. Шляпы она так и не сняла.

– Ладно, неси, – говорит Рэба. – Но больше ни капли. Он даже за пиво не расплатился. Но мисс Тельма – новый человек у нас в Мемфисе, надо, чтоб она почувствовала себя как дома. – Минни ушла. – Значит, сегодня вы карман не вывернете, – говорит Рэба.

– Я ведь пришел просить вас об одолжении, – говорю. А она и не слушает.

– Вы и раньше немного тратили. Да, конечно, на пиво вы не скупились, угощали всех. Но баловаться не баловались. Во всяком случае, не с моими девочками. – Она смотрела на меня. – Мне это тоже ни к чему. Дело прошлое. Мы бы с вами сладились. – Она все смотрела на меня. – Слыхала я про то дельце, что вы там открыли у себя. Многим, у кого здесь заведения, это не понравилось. Считают, что вы подрываете коммерцию, что это не... не... как же это называется? Доктора и адвокаты вечно бросаются этим словом.

– Неэтично, – говорю. – Это значит – всухую.

– Всухую? – говорит.

– Вот именно, – говорю. – Мою, так сказать, отрасль вашей профессии можно назвать безводной или бесплодной отраслью. Так сказать, форпостом в пустыне.

– Ага, понимаю, я вас поняла. Это точно. Я им так и говорила: смотреть эти карточки, конечно, можно, временно там, в глуши, где для человека нет никакой подходящей отдушины, во рано или поздно кто-нибудь так распалится, что захочет побежать к ближнему колодцу за ведром настоящей воды. Так, может, он к моему колодцу и прибежит. – Она все смотрела на меня. – Распродавайте все и переезжайте сюда.

– Это предложение, что ли? – говорю.

– Погодите. Переезжайте сюда, будете хозяином в доме. Пиво и всякая выпивка все равно за мой счет, а много ли вам еще надо – сигареты, одежда, ну и чтоб можно было звякнуть мелочишкой в кармане, а это мне по средствам, да и за девочками мне не придется следить, вам можно доверять, как я доверяла мистеру Бинфорду, потому что ему я всегда могла доверять, всегда. – Она все смотрела на меня. Что-то у нее в глазах или в лице было такое, чего я никогда не видел, да, по правде говоря, и не ожидал. – А мне надо... Мужчине по силам то, что женщине трудно. Сами знаете, подкупать кого следует, с пьяным справляться, проверять этих сукиных детей, торговцев виски и пивом, чтобы не вздували пены и не утаивали бутылок, надо кружить над ними день и ночь, как ястребу какому, лопни мои глаза. – Сидит, смотрит на меня, держит стакан пива, рука жирная, да еще этот бриллиант с кирпичину: – Мне нужно... Мне... Разве мне баловство нужно? Это давным-давно прошло, я и думать забыла... Тут не то... Три года, как он умер, а мне до сих пор не верится. – Не к месту все это было: это обрюзгшее, морщинистое лицо, это тело, истасканное от тяжелой, черной физической работы – работы проститутки, которой она кормилась, а теперь, как старый боксер или футболист, вернее, как старая лошадь, она и лицом и телом стала ни на что не похожа, ни на мужчину, ни на женщину, хоть на ней и румяна, слишком густые, дешевые, и огромные бриллианты, вроде настоящих, только, конечно, не того цвета, а тут еще эти глаза, и что-то в них прячется, мелькает что-то, чему там совсем не место, чего, как говорится, и собаке не пожелаешь... Минни прошла мимо двери в прихожую. Поднос был пустой. – Четырнадцать лет мы жили, как два голубка. – Она все смотрела на меня. Да, и собаке не пожелаешь... – Как два голубка! – заорала она, подняла стакан с пивом, со стуком поставила его на стол и крикнула: – Минни! – Минни остановилась в дверях. – Принеси джину.

– Нельзя, мисс Рэба, и не думайте! – сказала Минни. – Вспомните, как вы в прошлый раз затосковали по мистеру Бинфорду, так от нас полиция до четырех утра не выходила. Пейте-ка пиво, а про джин забудьте!

– Ладно, – сказала Рэба. Она даже отхлебнула пива. Потом поставила стакан. – Вы говорили о каком-то одолжении. Денег вы просить не станете, я не о том, что это было бы нахальство, просто у вас соображения хватает. Интересно, насчет чего же?

– Как раз насчет денег, – говорю. Я достал те пятьдесят долларов, отслюнил десятку и сунул ей. – Я уезжаю годика на два. Это вам, чтоб не забывали меня. – Она денег не взяла. Она даже на них не взглянула, не то что Минни, а все смотрела на меня. – Может быть, Минни поможет, – говорю. – Хочу подарить сорок долларов самому несчастному сукину сыну, какого найду. Не знаете ли вы или Минни, кто тут сейчас самый несчастный сукин сын?

Теперь они обе смотрели на меня. Минни тоже смотрела из-под своей шляпы.

– В каком смысле несчастный? – спросила Рэба.

– Ну, попал в беду или сидит в тюрьме ни за что ни про что.

– У Минни муж, конечно, и сукин сын, и в тюрьме сидит, – говорит Рэба, – но я бы не сказала, что он несчастный. Как по-твоему, Минни?

– Не-е, – говорит Минни.

– Но, по крайней мере, он пока что хоть с бабами не треплется, – говорит Рэба, – так что можешь на время успокоиться.

– Не знаете вы Людеса, – говорит Минни. – Нет такого места на свете, хоть на каторге, хоть где, чтобы Людес не облапошил какую-нибудь дуру.

– А за что его взяли? – спрашиваю.

– Бросил работу еще прошлой зимой, околачивался тут все время, жрал в моей кухне, таскал у Минни деньги, чуть она заснет, а потом она его застукала – он ее деньгами платил другой женщине, а когда она попробовала его усовестить, он как схватит у нее из рук утюг, как двинет, чуть ей ухо не оторвал. Оттого-то она и ходит в шляпе, даже дома. Так что я бы сказала – уж если кто заслужил ваши сорок долларов, так это Минни.

Но тут наверху в холле завизжала женщина. Минни и Рэба побежали туда. Я взял деньги и пошел за ними. Визжала и ругалась новенькая, Тельма, она выскочила на площадку в чем-то вроде халатика, хоть он ничего не прикрывал. Капитан Страттербек уже спускался по лестнице, в шляпе, в одной руке держал пиджак, а другой старался привести себя в порядок. Минни остановилась под лестницей. Она и не пыталась перекричать Тельму, тем более заставить ее замолчать; просто у Минни голос был громче, а может, и практики больше.

– Ясно, у него сроду денег не было, куда ему! Как стал сюда ходить – больше двух долларов ни разу не видели. И чего ты пустила его, не понимаю, сначала надо было деньги зажать в кулак. Клянусь богом, он и брюк не снял! А уж если гость брюк не снимает, лучше его и близко не подпускай! Значит, норовит сбежать, и не верь, чего он тебе натреплет.

– Помолчи, – говорит Рэба Минни. – Хватит!

Минни отступила, даже Тельма замолчала, то ли она меня увидела, то ли просто так, но она даже этот свой халатик запахнула. Страттербек сошел с лестницы, он все еще пытался привести в порядок свою одежду, наверно, сейчас он меньше всего старался обоими глазами глядеть в одну точку. Впрочем, не знаю, судя по словам Минни, когда он спускался вниз, ему уже и пугаться и удивляться было поздно, как, скажем, какому-нибудь канатоходцу на канате. Главное идти надо осмотрительно, осторожно, но пугаться особенно нечего, а уж удивляться и вовсе не стоит. Наконец он дошел до самого низу. Но это было не все. До выходной двери оставалось еще восемь – десять шагов.

Но Рэба была настоящая леди. Она только протянула руку и ждала, а он наконец бросил возиться с пуговицами, вынул из какого-то кармана почтовый перевод и отдал ей. Настоящая

леди. Она его и пальцем не тронула. Даже не обругала. Просто подошла к входной двери, взялась за ручку, повернула ее и говорит:

– Застегнитесь. Не допущу, чтоб человек выходил из моего дома чуть ли не в одиннадцать часов ночи бог знает в каком виде. – Потом закрыла за ним двери и заперла на ключ. А потом развернула почтовый перевод. Минни была права. Перевод оказался на два доллара, послан из Лонока, штат Арканзас. Отправитель подписался К.-Милла Страттербек. – Дочка или сестра? – сказала Рэба. – Как по-вашему?

Минни тоже рассматривала повестку.

– Нет, это жена, – говорит. – Сестра, или мамаша, или бабка – те послали бы пятерку. Любовница – все пятьдесят долларов, если б только они у нее были и если на нее настроение нашло. Дочка послала бы центов пятьдесят. Нет, никто, кроме жены, ему два доллара не пошлет.

Она принесла в столовую еще две бутылки пива.

– Ну ладно, – сказала Рэба. – Вы просили об одолжении. Какое вам нужно одолжение?

Я опять достал деньги и опять пододвинул к ней десятку, а сорок придержал.

– Это вам с Минни, чтоб помнили меня, пока я не вернусь через два года. А остальные пошлите, пожалуйста, моему дяде, в миссисипскую каторжную тюрьму, в Парчмен.

– А вы через два года вернетесь?

– Да, – говорю. – Можете меня ждать. Через два года. Правда, человек, на которого я порядился работать, сказал, что я вернусь через год, но я ему не верю.

– Ладно. Так что же мне делать с этими сорока долларами?

– Пошлите их моему дяде, Минку Сноупсу, в Парчмен.

– А за что он сидит?

– Убил человека, Джека Хьюстона, давно, в тысяча девятьсот восьмом году.

– А Хьюстона стоило убивать?

– Не знаю. Но, судя по тому, что я слышал, он сам напросился, чтоб его прикончили.

– Вот несчастный сукин сын! А надолго вашего дядю запрятали?

– Пожизненно, – говорю.

– Ну ладно, – говорит, – я и в этом знаю толк. Когда он выйдет?

– Примерно в тысяча девятьсот сорок восьмом году, если выживет и ничего с ним не стряется.

– Ладно, – говорит. – А как мне послать деньги?

Я дал ей адрес, все объяснил.

– Можете написать – от товарища по заключению.

– Зачем это? – говорит. – Я в тюрьме никогда не сидела и не собираюсь.

– Тогда напишите от друга.

– Ладно, – сказала она.

Она взяла деньги, сложила их.

– Эх, несчастный он сукин сын.

– Да вы о ком?

– О них обоих, – говорит, – да и о вас. Все мы такие. Несчастные мы сукины дети.

Я никак не ожидал, что увижу Кларенса еще до утра. Но он был в номере, на комодѣ лежала куча мятых долларов, будто тут играли в кости, а сам Кларенс в одних брюках стоял, смотрел на них и зевал, почесывая шерсть на груди. На этот раз им, вернее, Кларенсу попался оптовый покупатель, азартный малый, и после того, как Вирджил успешно справился с двумя девицами, он побился об заклад, что с третьей, без передышки, ему не справиться, причем он повысил ставку, и Кларенс покрыл ее той полсотней, которую ему дал Флем. Потому что тут



он и вправду шел на риск: он рассказал, что даже сам предложил Вирджилу сдаться, обещал ему это в вину не ставить, но этот молокосос и глазом не моргнул:

– Чего там, давай ее сюда!

– А теперь меня совесть мучит, – сказал Кларенс и опять зевнул. – Деньги-то Флемовы. Совесть мне подсказывает не говорить ему ни черта, пусть думает, что его деньги истрачены, и все. Да как-то нехорошо, столько заграбастать, человек все-таки не свинья!

Приехали мы домой.

– Зачем тебе сразу возвращаться в тюрьму? – говорит мне Флем. – Еще три недели можешь побыть дома.

– Считайте, что мне привыкать надо, – говорю. – Считайте, что я хочу свою совесть утихомирить.

Так что я опять отгородился стальной решеткой, опять я был защищен от свободного мира – был защищен, был пока что в безопасности от свободного мира Сноупсов, где Флем пытался променять жену на место президента банка, а Кларенс даже получал жалованье, как сенатор штата, курсируя между Джексоном и Гейозо-стрит и зарабатывая на талантах Вирджила, как только ему попадался еще один гуляка из Арканзаса, который не желал верить своим глазам, а Байрон сидел в Мексике или, может, еще где-то, тратя остатки банковских денег, – защищенный от мира, где существовал наш с Кларенсом папаша, А.О., а общий наш дядюшка Уэсли одной рукой дирижировал церковным хором, а другой лез под юбку четырнадцатилетним девчонкам; я уж не считаю ни Уоллстрит-Панику, ни Адмирала Дьюи, ни их отца Эка, потому что они не нашего семейства, они наш позор.

О дяде-убийце, о Минке, и говорить нечего, я его увидел шесть-семь недель спустя (пришлось немного выждать, чтоб не спугнуть его, сами понимаете).

– Флем? – говорит. – Вот уж не думал, что Флем хочет меня вызволить. Мне казалось, что ему-то именно и нужно, чтобы я тут сидел как можно дольше.

– Наверно, у него характер исправился, – говорю. Он стоял передо мной в полосатой арестантской одежде, моргал глазами – такой жалкий, тощенький человечек, ростом с четырнадцатилетнего мальчишку. Даже странно было, каким чудом в таком маленьком тщедушном существе скопилось столько злобы и как он мог удержать в руках тяжелую двустволку да еще кого-то из нее прикончить.

– Очень ему благодарен, – говорит он. – Но только, ежели я завтра отсюда выйду, может оказаться, что я-то ничуть не исправился. Я ведь здесь давным-давно. А за все это время мне только и дел было, что работать в поле и думать. Может, он зря рискует? Хочется все сделать по-честному.

– Он это знает, – говорю. – Он и не ждет, чтобы вы тут исправились, он понимает, что этого не будет. Он ждет, что вы исправитесь, как только выйдете отсюда. Он понимает, что как только на вас повеет вольным ветерком, как только солнышко вас пригреет, так вы сразу станете другим человеком.

– А что, если я не... – Он не прибавил: «Не сразу исправлюсь», – сам себя остановил.

– Он и тут готов рискнуть, – говорю. – Иначе ему нельзя. Понимаете, теперь нельзя. Тогда он не мог ничего сделать, чтоб вас не посадили. Но он знает, что вы считаете, будто он и не пытался. И теперь он хочет помочь вам отсюда выйти, во-первых, чтоб доказать, что не по его вине вы тут сидели, а во-вторых, чтобы не думать и не вспоминать, что вы считаете его виноватым. Понятно?

Он стоял неподвижно, только моргал глазами, и руки у него висели без дела, пальцы согнутые, будто по рукоятке плуга, и шея напряжена, словно на нее все еще лямка надета.

– Мне и всего-то пять лет осталось, тогда я сам по себе освобожусь. Тогда никто ничего от меня ждать не станет, никому я не буду обязан за помощь.

– Правильно, – говорю, – всего каких-нибудь пять лет. А что такое пять лет для человека, который вот уже пятнадцать лет, как привык, чтоб над ним стоял охранник с винтовкой, когда он пашет землю не под свой хлопок, другой охранник стоял над ним с винтовкой, когда он жрет свою баланду, охота ему или неохота, а третий запирает его на ночь, пусть спит или не спит, это уж как ему вздумается. Еще каких-нибудь пять лет – а там выйдете на волю, и будет вас солнце греть, ветер обдувать, и никаких охранников, тень от винтовки вам свет не будет застить, потому что там свобода.

– Свобода, – сказал он совсем тихо, просто одно слово – «свобода».

И все. А дальше было проще простого. Конечно, надзиратель, которому я заранее накапал, ругал меня на чем свет стоит, но я этого ждал: мы живем в свободной стране, каждый заключенный имеет право на попытку к бегству, а каждый надзиратель и часовой имеет право выстрелить ему в спину, если он не остановится по первому окрику. Но ни один такой-растакой стукач не имеет права предупреждать надзирателя заранее.

Мне своими глазами пришлось все видеть. За это тоже было плачено: за это я, так сказать, и получил расписку, что мне разрешают дышать в мире, где водятся Сноупсы. Мне хотелось отвернуться или хотя бы закрыть глаза. Но ничего другого не оставалось, даже нельзя было зажать этот последний, жалкий, нестоящий грош, и пришлось смотреть на эту мелкую тварь, похожую на девчонку в материнском ситцевом платье и шляпке, – он считал, что это придумал Флем (вот что оказалось труднее всего – он все еще хотел верить, что человеку, идущему навстречу своей судьбе, даже если эта судьба – погибель, надо бы сохранять собственное достоинство и хотя бы остаться в брюках: мне пришлось немало постараться, пока я его не убедил, что Флем не мог ничего достать, кроме женского платья и шляпы). Он шел шагом, я ему внушил: нельзя бежать, надо идти, и он шел такой жалкий, растерянный, неприкаянный, один в пустом тюремном дворе, похожий на бумажную куклу, которую вот-вот сдует в мельничный водоворот, шел, даже поняв, что назад уже повернуть нельзя, шел даже тогда, когда понял, что его продали и что ему давно надо было понять, что его продают, но он никого не виноватил, хоть его и продал тот, кому он ничего не сделал, ведь и он тоже поставил свою подпись – читать он не умел, но расписаться мог на расписке, что мне еще немножко дадут подышать, – и он тоже был одним из Сноупсов.

А потом он побежал, раньше, чем нужно. Он побежал прямо на них, я их еще не видел, побежал прежде, чем они выскочили из засады. И я гордился не только тем, что мы с ним родственники, но тем, что все мы были из одной породы несчастных сукиных детей, как говорила Рэба. Потому что они еле-еле справились с ним впятером, хоть колотили его рукоятками револьверов, пока наконец не удалось его свалить ударом дубинки по голове.

Начальник послал за мной.

– Ничего не говори, – сказал он. – Лучше бы я и того не знал, что я подозреваю. По правде говоря, будь моя воля, я бы запер тебя с ним в одной камере и оставил наедине, только на тебя я надел бы наручники. Но у меня свои обязанности, и я тебя просто запру в одиночку на неделю-другую, чтобы тебя не тронули. Но не от него.

– А вы не расстраивайтесь и не храбритесь, – говорю. – Вам ведь тоже пришлось расписаться.

– Что? – говорит. – Не понимаю!..

– Я сказал – не беспокойтесь. Он против меня ничего не имеет. Не верите – пошлите за ним.

И он вошел. Синяки и ушибы от рукояток уже начали заживать. Ну, а дубинка следов не оставляет.

– Здрасьте, – говорит. – А потом мне: – Теперь ты, наверно, увидишь Флема раньше, чем я.

– Да, – говорю.

– Скажи, не надо было ему посылать это платье. Хотя это пустяк. Если бы я свое досидел, я, может, исправился бы. А уж теперь вряд ли. Так что теперь я уж просто подожду.

Видно, Флему надо было послушаться меня насчет тех десяти косых. И сейчас было не поздно. Я мог бы ему даже письмо написать: «Вам ничуть не трудно раздобыть десять тысяч. Вы только подпустите Манфреда де Спейна к вашей жене. Нет, это глупо: пытаться подсунуть Юлу Уорнер Манфреду де Спейну – это все равно, что стараться продать человеку лошадь, на которой он уже лет десять-двенадцать ездит. Но у вас есть эта девчонка, эта Линда. Правда, ей, кажется, всего лет одиннадцать – двенадцать, но это мелочь, нацепите ей темные очки и туфли на каблучках и подсуньте ему побыстрее. Может, де Спейн ничего не заметит».

Но письмо я писать не собирался. Да меня и не это беспокоило. Мучило меня то, что я знал: никакого письма я писать не стану, знал, что я от них откажусь – я говорю про комисионные с тех десяти тысяч за то, что я свел бы его с «синдикатом Чи». Не помню, когда это было, наверно, я был еще совсем молодым, когда понял, что происхожу, можно сказать, из семейства, из клана, из рода, а может быть, из расы чистокровных сукиных сынов. И я себе сказал: «Ладно, если дело так обстоит, мы им покажем. Лучшего адвоката называют „адвокат из адвокатов“, лучшего актера – „актер из актеров“, а лучшего спортсмена – „футболист из футболистов“. Отлично, так мы и сделаем. Каждый Сноупс поставит себе свою собственную личную цель, чтобы весь мир признал его самым рассукиным сыном из всех сукиных сынов».

Но никогда мы ничего не делаем. Нас на это не хватает. Самое большее, чего мы можем добиться, это просто быть обыкновенным Сноупсом, обыкновенным сукиным сыном. Все мы такие, все до одного – и Флем, и старый Эб, я даже толком не знаю, кем он мне приходится, и дядя Уэс, и наш с Кларенсом папаша. А.О., а потом, по нисходящей линии: Кларенс и я, плоды, так сказать, одновременного двоеженства, и Вирджил, и Уордамен, и Бильбо, и Байрон, и Минк. Я уж не говорю об Эке, и Уоллстрите, и Адмирале Дьюи, потому что они не наши. Я всегда подозревал, что мамаша Эка занималась сверхурочной ночной работенкой за девять месяцев до его рождения. Вот и вышло, что единственная настоящая сука из нашей семьи оказалась вовсе не сукой, а святой и мученицей, а единственный чистокровный, неподдельный, истинный, непревзойденный сукин сын в нашей семье даже не был настоящим Сноупсом.

## 5. МИНК

Когда племянник вышел, начальник тюрьмы сказал:

– Сядьте. – Он сел. – О вас в газете написано, – сказал начальник. Газета лежала перед ним на столе.

### НЕУДАЧНЫЙ ПОБЕГ. БЕГЛЕЦ В ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ

Парчмен, Миссисипи, 8 сент., 1923 года. М.-С. («Минк») Сноупс, осужденный пожизненно за убийство в Йокнапатофском округе...

– А как ваше второе имя? Тут инициалы М.-С., – спросил начальник. Голос его звучал очень мягко. – Мы считали, что вас зовут просто Минк. Так вы нам говорили, верно?

– Верно, – сказал он. – Минк Сноупс.

– А второй инициал "С", он что означает? Тут написано: «М.-С.Сноупс».

– О-о, – сказал он. – Это просто так. Просто М.-С.Сноупс, как, например, Б.С. железная дорога<sup>9</sup>. Ко мне в лазарет приходили эти молодые ребята из газеты. Все спрашивали, как меня зовут, я говорю – Минк Сноупс, а они говорят – Минк не имя, это какая-то собачья кличка. Как, говорят, ваше настоящее имя? Я им и сказал – М.-С.Сноупс.

– Вот оно что, – сказал начальник. – Значит, другого имени, кроме Минк, у вас нет?

– Да, Минк Сноупс – и все.

– А как вас называла мать?

– Не знаю. Она померла. Меня все звали Минк, с самого рождения. – Он встал. – Я пойду. Меня там, наверно, ожидают.

– Погодите, – сказал начальник. – Неужели вы не знали, что ничего из этого не выйдет? Неужели не понимали, что вам не уйти?

– Да, мне и раньше говорили, – сказал он. – Предупреждали. – Он стоял, не двигаясь, затихнув, такой маленький и щедушный, немного опустив голову, словно задумавшись, и лицо спокойное, будто он даже улыбался. – Зря он меня облапошил, вот я и попался в этой одежде, в шляпке в этой, – сказал он, – я бы с ним такой штуки не сыграл.

– Вы о ком? – спросил начальник. – Про этого... он ваш племянник, что ли?

– Про Монтгомери Уорда? – сказал он. – Он моего дяди внук. Нет. Я не о нем. – Он помолчал. Потом опять начал: – Лучше уж я пойду...

– Через пять лет вы бы вышли, – сказал начальник. – Вы понимаете, что теперь вам могут добавить еще двадцать.

– Меня и об этом предупреждали, – сказал он.

– Ну хорошо, – сказал начальник. – Можете идти.

Но тут он сам остановился, помолчал.

– Наверно, вы так и не узнали, кто мне послал те сорок долларов?

– Откуда же мне знать? – сказал начальник. – Я и тогда вам объяснял. Написано – от друга. Из Мемфиса.

– Это Флем, – сказал он.

– Кто? – переспросил начальник. – Тот родич, про которого вы говорили, что он вам не хотел помочь, когда вы человека убили? Вы еще сказали, что он мог бы вас спасти, если бы захотел, так, что ли? Зачем же он теперь, через пятнадцать лет, стал бы посылать вам сорок долларов?

---

<sup>9</sup> Большая Северная железная дорога.

– Это Флем, – сказал он. – Он может, он богатый. А потом у вас никогда не бывало ссор из-за денег. В то время он только-только зацепился у Билла Уорнера, может, он решил, что все-таки тут убийство, не стоит зря ввязываться, даже если замешан твой кровный родственник. Только лучше б он не присылал одежду, шляпку эту. Не стоило ему так поступать.

Уже убирали хлопок, уже каждый хлопководческий район в Миссисипи готовил самых своих лучших, самых быстрых своих сборщиков, чтобы в состязании с лучшими сборщиками Арканзаса и Миссури они вышли победителями по всей долине Миссисипи. Но тут их искать не станут. Тут вообще никаких победителей нет, сюда попадают только неудачники: те, кто неудачно убил, украл или смошенничал. Он вспомнил, как он сначала проклинал свою неудачу, невезение – разве иначе его поймали бы, – но теперь-то он понял: нет никакого везения или невезения, просто одни рождаются победителями, а другие неудачниками, и, если бы он родился победителем, Хьюстон не только не мог бы, он и не посмел бы издеваться над ним из-за какой-то коровы и не довел бы его до убийства: некоторые люди с самого рождения неудачники, они всегда попадают, некоторых людей с самого рождения все обманывают – и он, Минк, тоже был одним из таких людей.

Урожай выдался богатый, он и не запомнил такого, словно все шло на пользу хлопку, все поспевало ко времени: ветер и солнце помогли подняться посевам, на долгой злой летней жаре хлопок вытянулся и вызрел. Как будто еще весной земля сказала – что ж, давайте хоть раз будем заодно, не стоит ссориться, – то болото, та почва, та земля, что каждому арендатору, каждому издольщику была заклятым врагом, смертельным недругом, жестокая, неумолимая земля, что износила его молодость, его орудия, а потом и его тело. И не только его собственное тело, но и то, нежное и таинственное, которого он с таким изумлением и бережностью, с таким недоверчивым восторгом коснулся в первую брачную ночь, и оно теперь износилось, стало таким жестким и жилистым, что часто – а ему казалось, почти всегда – он сам, измотанный и усталый, забывал, что рядом женщина. И это случилось не только с ними обоими, но станет и с их детьми, он видел, как растут две его девочки, и знал, что ждет впереди эту нежную и хрупкую юность. Чего же удивляться, если человек смотрел на этот враждебный, непримиримый клочок скверной земли, к которому он был прикован до конца жизни, и говорил ей: «Твоя взяла, ты меня изматываешь до конца, потому что ты сильнее, а я – только мясо да кости. Бросить тебя нельзя, жить не на что, и ты это знаешь. И я сам, и то, что было моей молодостью и моей страстью, пока ты не иссушила мою молодость, а я не забыл свою страсть, все это будет повторяться из года в год, в детях нашей страсти, и ты их тоже будешь изнурять, толкать к могиле, и ты знаешь это, и так будет год за годом, год за годом, и ты это тоже знаешь. И не я один – все такие, как я: безземельные арендаторы, издольщики, те, что зарыли свою молодость, все надежды в тридцать, в сорок, в пятьдесят акров болота, где никто, кроме нашего брата, не стал бы работать, потому что у нашего брата нет ничего на свете, кроме тебя. Одно мы можем – выжечь тебя. Поздним февралем или в начале марта мы можем поджечь все, что на тебе есть, пока лицо твое не станет опаленным и черным, и тут ты с нами ни черта не сделаешь. Ты можешь износить наше тело и притупить наши мечты, можешь скрутить нам кишки кукурузной мукой, салом и патокой – на другое ты нам не дашь заработать, – но каждую весну мы можем выжечь тебя дотла, и ты это тоже знаешь».

А теперь все было по-другому. Земля была не его, то есть даже доли арендатора или издольщика он с нее не получал. Теперь все, что с нее получали (или не получали) в урожай или в недород, в дожди или в засуху, десять центов за фунт хлопка или доллар за кипу – все это ни на йоту не меняло его теперешнюю жизнь. И теперь прошли годы, и тот год, когда он вышел бы на свободу, если бы не дал племяннику подговорить себя на эту глупость, – а всякий, даже тот дурак мальчишка, адвокат, которого ему навязали тогда на суде, хотя он, Минк, куда лучше сумел бы вести дело, – даже этот пустомеля и то предвидел, и то ему все

объяснил и даже предсказал, какие будут последствия, – всякий понимал, что не только ничего не выйдет, но и заведомо выйти не может, – теперь все это уже было позади, и вдруг он понял одну вещь. Такие люди, как он, даже временно никогда не владели землей, хотя бы они брали ее в аренду у хозяина с первого января на целый год. Земля владела ими, и не только от посева до жатвы, но и навеки; не собственник земли, не помещик гнал их в ноябре с одного негодного участка на большую дорогу – искать в отчаянии другой такой же никуда не годный участок в двух милях или в десяти милях, за два штата или за десять штатов, чтобы успеть в марте засеять участок, их гнала сама пашня, сама земля гоняла их, обреченных на нужду, на нищету, в новое рабство, с участка на участок, как семья и клан гонят какого-нибудь дальнего родича, безнадежно разорившегося неудачника.

А теперь все это отошло. Он больше не принадлежал земле, даже на таких бесчеловечных условиях. Он принадлежал правительству, штату Миссисипи. Он мог из года в год подымать пыль в междурядьях хлопкового поля, и, если на поле ничего не вызревало, ему было все равно. Больше не надо было ходить в хозяйскую лавчонку и препираться с хозяином из-за каждого грамма дешевого скверного мяса, муки, патоки, из-за стаканчика нюхательного табаку – единственной роскоши, на которую они с женой тратились. Больше не надо было препираться с хозяином из-за каждого жалкого мешка удобрений, а потом собирать жалкий урожай, пострадавший оттого, что этого удобрения не хватило, и опять препираться с хозяином из-за своей жалкой нищенской доли в этом урожае. Теперь от него требовалось только одно: работать не останавливаясь: даже часовому с винтовкой, охранявшему его, было неважно и безразлично, так же как и ему, вырастет что-нибудь там, где они работали, или нет, лишь бы работали без остановки. Сначала Минк стыдился, ему было и стыдно и страшно, что все узнают, насколько ему все безразлично, но однажды он понял (он сам не мог бы объяснить, каким образом), что и всем остальным тоже все равно, что с течением времени Парчмен всех доводит до этого состояния, и он думал и, удивляясь, недоумевал: «Да, брат, человек ко всему может привыкнуть, даже к Парчменской тюрьме, лишь бы время прошло».

Но в Парчмене человек иначе воспринимал только то, что увидел после ареста. Парчмен не влиял на то, что человек принес сюда с собой. Просто вспоминать стало легче, потому что Парчмен учил человека ждать. Он вспоминал тот день, когда судья сказал; «Пожизненно», а он все еще верил, что Флем явится и спасет его, а потом наконец понял, что Флем не придет, что он и не собирался прийти, вспоминал, как он тогда же сказал, почти что крикнул вслух: «Вы отпустите меня хоть ненадолго, мне бы только попасть на Французову Балку или где он там будет, минут на десять, а потом я вернусь сюда, и можете меня повесить, ежели вам это нужно». И как даже тогда, три, пять или восемь лет назад, когда Флем подослал этого племянника – как его звали? – да, Монтгомери Уорд, и тот подговорил его на побег в женском платье и шляпе, а ему за это добавили еще двадцать лет, точь-в-точь как с самого начала предсказал этот дурак мальчишка, этот адвокат, – как даже тогда, отбиваясь от пяти надзирателей, он все еще кричал то же самое: «Только отпустите меня в Джефферсон на десять минут, потом я сам вернусь, потом можете меня повесить!»

Теперь он об этом уже не думал, потому что научился ждать. И он понял, что в ожидании он ко всему прислушивается, многое слышит; и, слушая, прислушиваясь, он даже лучше знал о том, что делается, чем если бы сам был в Джефферсоне, потому что тут ему надо было только следить за всем, а беспокоиться не надо. Значит, жена уехала к своим родным и, как говорили, умерла там, а дочки тоже уехали, выросли; может, на Французовой Балке, кто-нибудь знает, куда они девались. А Флем стал богачом, президентом банка, живет в доме – сам его перестроил, и дом, как рассказывали, был громадный, больше мемфисского вокзала, и с ним жила дочка, ублюдок от покойной дочери старого Билла Уорнера, дочка эта, когда выросла, уехала из дому, вышла замуж, а потом она с мужем была на войне, где-то в Испании, и там не то бомбой, не то снарядом убило ее мужа, а ее совсем оглушило. Теперь она вернулась,

вдовая, живет с Флемом вдвоем в огромном этом доме и, говорят, даже грома не слышит, но в Джефферсоне народ ее не очень жалеет, потому что она связалась с какой-то негритянской воскресной школой, а еще говорили, что она связалась с какими-то «коммунистами», муж ее тоже был из них, будто они в той войне и дрались на стороне этих самых «коммунистов».

Флем, наверно, постарел. Оба они постарели. Когда он выйдет, в тысяча девятьсот сорок восьмом году, они с Флемом оба будут совсем стариками. А может, Флем и не доживет, и ему незачем будет выходить в тысяча девятьсот сорок восьмом году, а может, он и сам не доживет, не выйдет в тысяча девятьсот сорок восьмом году, и он вспоминал, как вначале одна эта мысль приводила его в бешенство: вдруг Флем умрет своей смертью, а может, найдется другой человек, удачливей его, такой, что не обречен судьбой на неудачу, такой, которого не поймают, и тогда ему казалось, что этого не вынести: ведь он не справедливости требовал, справедливость только для счастливых, только для победителей, но может же человек хотя бы надеяться на удачу, имеет же каждый право на удачу. Но и это все уже отошло, расплылось, распылилось в монотонном ожидании, в тысяча девятьсот сорок восьмом году оба они с Флемом уже будут стариками, и он даже бормотал вслух: «Жаль, что нельзя нам, старикам, просто выйти вместе, посидеть спокойно на солнышке или в холодке, дожидаться, пока смерть нас обоих заберет, и ни о чем не думать, ни о каком-то там зле или обиде, ни о счетах, даже не помнить, что было зло, была обида, и беда, и расплата». Двое стариков, они не только никому уже не нужны, но скоро и совсем будут ни к чему, разве можно стереть, зачеркнуть, уничтожить те сорок лет, которые ему, Минку, тоже теперь ни к чему, а скоро он о них и совсем жалеть не станет. «Нет, как видно, теперь уж мы ничего поделать не можем, – думал он. – Теперь уж мы оба ничего вспять не повернем».

И снова осталось только пять лет – и он выйдет на свободу. Но на этот раз он твердо помнил урок, который ему преподавал дурак адвокатишка тридцать пять лет назад. Их было одиннадцать. Они работали, и ели, и спали вместе – одна кандальная команда, они жили в отдельном бараке из досок, парусины и проволоки, – стояло лето: скованные одной цепью, они шли в столовую есть, потом – в поле работать, потом, опять-таки скованные цепью, спать в свой барак. И когда был задуман побег, все десять должны были втянуть его в заговор, чтоб он их случайно не выдал. Они не хотели его втягивать: двое так и не согласились на это. Потому что с той неудавшейся попытки бежать не то восемнадцать, не то двадцать лет назад всем было известно, что он по собственному почину стал горячим проповедником доктрины воздержания от побегов.

И когда они наконец сказали ему просто потому, что он должен был знать их тайну, чтобы по неведению ее не выдать, хотел он или не хотел участвовать в побеге, то в ту самую минуту, как он сказал, крикнул: «Нет! Стойте, погодите! Погодите! Не понимаете вы, что ли, если хоть один из нас попробует бежать, они всех обвинят, схватят, тогда уж никому не выйти, даже если отсидишь свои сорок лет», – он тут же понял, что наговорил лишнего. И когда он себе сказал: «Теперь мне надо освободиться от этой команды, уйти от них», – он не думал: «Если я окажусь с ними в темноте, один, без часовых, мне никогда больше свету не видать, – а просто подумал: Надо вовремя поспеть к начальнику, пока они не удрали, может, уже сегодня ночью они всех нас погубят».

Но все равно ему пришлось ждать наступления той самой темноты, которой он так боялся, ждать, когда потушат свет, и притворяться спящим, ждать, чтобы убийцы на него напали, потому что только во время переполоха, который подымется при нападении на него, он мог надеяться привлечь внимание часового, предупредить его, заставить его поверить. А это значило, что он должен был хитростью перекрыть хитрость: он застыл на своей койке, пока они не начали притворно храпеть, чтобы заглушить его подозрения, прислушивался напряженно, неподвижно, затаив дыхание, чтобы вовремя, сквозь храп, разобрать тот звук, который предвещал удар ножа (или палки, или еще чего-нибудь) и успеть скатиться, слететь с койки,

еще одним судорожным движением перекатиться под койку, пока они – он не мог разобрать, сколько их, потому что громкий притворный храп стал еще громче, – пока они не набросились на пустоту, где еще какую-то долю секунды назад лежал он сам.

– Держи его! – задохнулся, зашипел кто-то. – У кого нож?

И другой голос:

– У меня. Да где ж он, сволочь? – А он, Минк, даже не остановился: еще одно судорожное движение, и он выкатился из-под койки и на четвереньках, меж топочущими ногами, прокрался, отполз как можно дальше от койки. Весь барак сдавленно шумел.

– Свет давай! – бормотал кто-то. – Хоть на минуту свет!

Вдруг он очутился в пустоте, на свободе, и смог вскочить. И тут он завизжал, заорал без слов – только крик, резкий человеческий голос, и сразу кто-то зашептал, задыхаясь:

– Вот он. Держи...

Но он уже отбежал, отпрыгнул, отскакивая от одного невидимого тела к другому, как бильярдный шар, крича, вопя неумолчно, даже когда понял, что сквозь парусиновые стены видно, как весь воздух пронизан не только прожекторами, но и воем сирены, а сам он окружен озверелыми молчаливыми людьми, они, словно рыбы, то выскакивали, то пропадали в беглом низком свете, который проникал через проволочную сетку над невысокой дощатой перегородкой, он даже увидел, как над ним сверкнул нож, и он нырнул, бросился в гущу, в водоворот ног, пытаясь пролезть под койку, под любую койку, чтоб уйти от ножа. Но было поздно, они уже увидели его. Он исчез под ними. Но и для них было поздно: казалось, что буравящие лучи прожекторов, даже самый вой сирены – все нацелено, направлено, сосредоточено на шатком, непрочном загончике, набитом орущими людьми. Ворвалась стража. Стражники били их по головам пистолетами, прикладами винтовок, оттаскивая их от него, пока он не оказался на виду у всех, избитый, окровавленный, но все еще в сознании. Он даже ухитрился в последнем судорожном усилии так вывернуться, что нож, который должен был пригвоздить его к полу, воткнулся в доски у самого его горла.

– Чуть не пришили, – сказал он стражнику. – Но, выходит, наша взяла.

Взяла, да не совсем. Он опять попал в больницу и только потом узнал, как на следующую же ночь двое – Стилвелл, шулер, который зарезал проститутку в Висксбурге (нож принадлежал ему), и второй, – они оба и настаивали, чтобы его, Минка, не посвящали в заговор, а просто заранее прикончили, – все равно пытались бежать, хотя убежал только Стилвелл, а второму выстрелом часового снесло полчерепа.

И опять он очутился в кабинете начальника. На этот раз перевязок было мало, а швов и совсем не накладывали: били его недолго, и никакого оружия, кроме кулаков и ног, у них не было, нож Стилвелла в счет не шел.

– Ведь нож был у Стилвелла, верно? – сказал начальник.

Он сам не мог бы объяснить, почему он это скрыл.

– Не знаю, у кого был нож, – сказал он. – Очень уж все быстро кончилось.

– Стилвелл, кажется, тоже так считает, – сказал начальник. Он взял со стола разрезанный конверт и вынул сложенный вдвое листок дешевой линованной бумаги. – Получил сегодня утром. Впрочем, ведь вы не умеете читать по-писаному, правда?

– Нет, – сказал он.

Начальник развернул листок.

– Отправлено вчера, из Тексарканы. Тут написано: «Он еще ответит за Джейка Баррона (так звали второго заключенного, убитого часовым), с него еще когда-нибудь спросится, так что вы его постерегите. И времени терять не стоит, кое-кто из наших еще за решеткой». – Начальник сунул письмо в конверт, положил в ящик и запер на ключ. – Вот видите. Тут вам ходить на свободе опасно, тут любой из них может вас прикончить. Вам осталось сидеть всего пять лет, и хотя вы не всех помогли задержать, но, вероятно, по моей просьбе губернатор дал



бы вам амнистию хоть завтра. Но я не могу этого сделать, потому что Стилвелл вас все равно убьет.

– Значит, если б капитан Джеббо (надзиратель, который стрелял), если б он убил Стилвелла, я бы завтра мог уйти домой? – спросил он. – А вы не могли бы узнать по письму, где он сейчас есть, и послать туда капитана Джеббо?

– Вы хотите, чтобы тот самый человек, который не дал Стилвеллу убить вас, теперь убил Стилвелла?

– Ну, другого кого пошлите. Несправедливо выходит: он ушел, а мне тут еще пять лет сидеть. – И вдруг добавил: – Ну да уж ладно. В конце концов, может, и среди нас тут затесался один победитель.

– Победитель? – переспросил начальник. – Как вы сказали?

Но он ничего не ответил. И впервые за все время он стал считать дни и месяцы. Никогда раньше он этого не делал, ни в те первые двадцать лет, что ему дали тогда, в Джефферсоне, ни в те двадцать, что ему добавили после того, как он послушался Монтгомери Уорда и надел этот старушечий балахон и шляпу. Ведь никто, кроме него, виноват не был, и когда при этом невольно вспоминал о Флеме, он словно нехотя гордился им, изумляясь, что они с ним одной крови. Он думал, а то и говорил вслух, без всякой зависти: «Да, уж этот Флем Сноупс, его не одолеешь. Во всем штате Миссисипи, даже во всех Соединенных Штатах Америки, вместе взятых, не найти человека, чтоб одолел Флема Сноупса».

Но тогда было дело другое. Он сам пытался бежать, хотя и неудачно, и безропотно принял добавочные двадцать лет заключения, пятнадцать из них он отсидел, не только не делая попыток к побегу, но даже рисковал жизнью, чтобы сорвать планы десятка других заключенных: в награду за это его могли бы освободить на другой же день, если бы один из надзирателей, меткий стрелок с винтовкой в руках, все-таки не прозевал одного из этих десяти заговорщиков. Выходило, что пять последних лет он должен сидеть не из-за себя. Он был готов добросовестно отсидеть свои сорок лет, и не его вина, что они превратились в тридцать пять и что остальные пять он сидел по милости злобной, даже ехидной благодетельницы-судьбы.

С этого рождества (впервые) кто-то стал отмечать за него медленно проходивший срок заключения. Пришла поздравительная открытка с мексиканским штемпелем, адресованная начальнику, для передачи ему. Начальник прочел открытку вслух, оба знали, от кого она: «Четыре года осталось. Не так много, как тебе кажется». На Валентинов день открытка была самодельная: на грубой, линованной бумаге красным карандашом, какие употребляют плотники и дровосеки, было грубо нарисовано сердце и стреляющий в него револьвер.

– Видите? – сказал начальник. – Даже если б ваши пять лет уже кончились...

– Мне не пять осталось, – сказал он. – Четыре года, шесть месяцев и девятнадцать дней. Так вы считаете, что и тогда меня нельзя выпустить?

– Чтоб вас прикончили прежде, чем доберетесь домой, да?

– Пошлите людей, пусть его поймают.

– Куда послать? – сказал начальник. – А если бы вы сами оказались на воле и не хотели возвращаться и знали бы, что я хочу вас вернуть, где бы я вас ловил, куда бы посылал людей?

– Да, – сказал он. – Значит, нет никаких человеческих возможностей, ничего не сделаешь.

– Нет, есть, – сказал начальник. – Надо выждать, ведь он непременно что-нибудь натворит, и полиция схватит его – не тут, так в другом месте.

– Выждать, – повторил он. – А вдруг человеку времени нет выждать?

– Да ведь у вас есть еще четыре года, шесть месяцев и девятнадцать дней, так что можно не беспокоиться.

– Да, – сказал он, – у него еще есть время чего-нибудь натворить.

И снова рождество, снова открытка с мексиканским штемпелем: «Три года осталось. Далеко не так много, как тебе кажется».

Он стоял перед начальником, чуть опустив голову, тщедушный, маленький, неистребимый, в полосатой арестантской одежде, со спокойным лицом.

– Опять из Мексики, как видно, – сказал он. – Может быть, *Он* там его убьет.

– Что? – переспросил начальник. – Что вы сказали?

Он не ответил. Он стоял спокойный, сосредоточенный, невозмутимый. Потом заговорил:

– Пока у меня не началась эта коровья склока с Джеком Хьюстоном и раньше, когда я еще мальцом был, я каждое воскресенье ходил в церковь, а по средам – на молитвенные собрания, с той женщиной, что меня вырастила.

– А кто они были, эти люди? – спросил начальник. – Вы говорили, мать у вас умерла?

– Он-то был просто сукин сын. А она мне и вовсе не родня, просто его жена... Каждое воскресенье, пока я...

– А его фамилия тоже была Сноупс? – спросил начальник.

– Он был мой отец... пока я не подрос и не откололся от бога, бывает так, что думаешь – я уже вырос, мне ни от кого ничего не надо. А потом вы сказали, что раз я помешал девяти парням из десяти убежать, так мне можно пять лет скостить, а вышло так, что вы меня вовсе выпускать не собираетесь, и тут я *Его* опять признал.

– Как признали? – спросил начальник. – Кого признали?

– Бога признал.

– Вы хотите сказать, что вернулись в лоно церкви с той ночи, два года назад? Да ведь это неправда. Вы ни разу даже в церкви не были, с тех пор как попали сюда, с тысяча девятьсот восьмого года.

И это было верно. Впрочем, ни прежнего начальника, ни его преемника это ничуть не удивляло. Они скорее могли предположить, что он примкнет к одной из тех небольших бунтарских, непримиримых, ни с кем и ни с чем не согласных сект, – секты эти существовали наряду с официальными тюремными церковными организациями почти во всех провинциальных тюрьмах на Юге, – к какой-нибудь небольшой фанатической секте или группе (в этой тюрьме она называлась «Свидетели Иеговы»), которой руководили самозванные вожаки, попавшие в тюрьму по удивительно однообразной схеме: все они были осуждены за преступления, характерные для средней прослойки, для людей респектабельных и связанных с семейной жизнью или, во всяком случае, с женщинами: было и двоеженство, и присвоение денег секты ради женщины, ради своей или чужой жены, и только в редких случаях, да и то самые отпетые, попадали из-за профессиональных проституток.

– А мне церковь не нужна, – сказал он, – я все больше наедине, втихомолку.

– Втихомолку? – переспросил начальник.

– Ну да, – сказал он с каким-то даже раздражением. – Богу писем писать не нужно. Он-то давно вас насквозь видит, ему и беспокоиться не стоит читать, что вы там напишете. Ведь человек и на свободе начинает кое-что соображать, с годами, конечно. А тут начинаешь соображать куда быстрее. Раз есть такой высший Судья, у которого силы хватит тебе помочь, он тебе и помогает, а твое дело только верить и принимать помощь, дурак ты будешь, ежели не примешь.

– Значит, *Он* избавит вас от Стилвелла? – сказал начальник.

– А то как же! Чем я перед ним провинился?

– Не убий! – сказал начальник.

– А что же *Он* Хьюстону это не сказал? Разве я стал бы ездить в Джефферсон, спать на вокзальной скамейке, лишь бы достать патроны, если б Хьюстон меня не заставил?

– Ну и чертовщина! – сказал начальник. – Ну и чертовщина, будь я проклят! Тебя отсюда через три года выпустят, но, будь моя воля, я бы тебя сейчас же выставил, сегодня же, пока тебе в голову или чем ты там еще думаешь не взбрело и на меня косо посмотреть. Не хочу

сидеть и всю жизнь представлять себе, что про меня так думают, как ты думаешь про тех, кто тебе мешает, чтобы мне желали того, чего ты им желаешь... Ну, ступай. Работать надо.

Но когда настал октябрь – месяц, насколько он знал, не праздничный, без подозрительных открыток – и начальник за ним послал, он даже не удивился. Начальник сперва только молча посмотрел на него – не то что растерянно, но как будто даже уважительно, потом сказал:

– Да, чертовщина. – Перед ним лежала телеграмма. – От начальника полиции из Сан-Диего, Калифорния. Там в мексиканском квартале стояла церковь. Она давно была заброшена, кажется, новую выстроили. Словом, служб там не было, а что в ней делалось, даже полиция толком не знала. А на прошлой неделе церковь обрушилась. Причин никто не знает, рухнула вдруг, и все. Там нашли человека, вернее, то, что от него осталось. Вот что пишут в телеграмме: «Отпечаткам пальцев ФБР установило ваш заключенный номер 08213 Шафорд Стилвелл». – Начальник вложил телеграмму в конверт, сунул конверт в ящик. – Расскажите, в какую это церковь вы ходили, до того как Хьюстон заставил вас убить его.

Но он ничего не ответил. Он только глубоко вздохнул.

– Теперь-то меня выпустят, – сказал он, – теперь я свободен.

– Не сию минуту, – сказал начальник. – Пройдет месяц-другой. Надо написать прошение, послать губернатору. Потом он запросит рекомендацию. А потом подпишет помилование.

– Прощение? – сказал он.

– Вы сюда попали по закону, – сказал начальник. – Вас и выпустить должны по закону.

– Прощение? – повторил он.

– Надо, чтобы ваши родные поручили юристу составить прошение о помиловании на имя губернатора. Жена... впрочем, она умерла. Ну, одна из дочерей.

– Наверно, они теперь уже замужем, уехали.

– Так, – сказал начальник. Потом сказал: – Черт побери, да вы уже фактически свободны, ведь у вас в собрании штата есть родич – кем он вам приходится, этот Эгглстоун Сноупс, которого два года назад провалили на выборах в конгресс?

Он стоял не двигаясь, слегка наклонив голову.

– Что ж, как видно, я тут останусь.

Как он мог сказать чужому человеку: «Кларенс, внук моего старшего брата, занимается политикой, ему голоса собирать надо. А когда я отсюда выйду, у меня избирательного права не будет. Чем же мне купить подпись Кларенса Сноупса на прошении?» Значит, оставался только сын Эка, Уоллстрит, а тот никогда никого не слушался.

– Видно, я тут у вас и эти три года отбуду, – сказал он.

– Напишите сами своему шерифу, – сказал начальник. – Я могу за вас написать.

– Хэб Хэмптон, тот, что меня засадил, он уже помер.

– Но какой-нибудь шериф там у вас есть? Что это с вами? Может, вы за эти сорок лет стали бояться солнца, воздуха?

– Тридцать восемь будет нынешним летом, – сказал он.

– Хорошо, тридцать восемь. Сколько вам лет?

– Родился я в восемьдесят третьем, – сказал он.

– Значит, вы тут сидите с двадцати пяти лет?

– Не знаю, не считал.

– Ну, ладно, – сказал начальник. – Ступайте! Когда захотите, я напишу письмо вашему шерифу.

– Пожалуй, я досижу, – сказал он. Но он ошибся. Через пять месяцев прошение уже лежало на столе у начальника.

– Кто это Линда Сноупс Коль? – спросил начальник.

Он долго стоял, не двигаясь:

– Ее папаша богатый банкир в Джефферсоне. У его деда и у моего все дети погоды.

– Она, как член вашей семьи, подписала прошение губернатору о вашем освобождении.

– Это как же понимать, шериф за ней послал, что ли, он заставил ее подписать?

– Как он мог? Ведь вы не дали мне написать шерифу.

– Верно, – сказал он. Он смотрел на бумагу, прочесть ее он не мог. Она лежала перед ним вверх ногами, впрочем, это тоже было все равно. – Вы мне покажите, где тут подписались те, что не хотят меня выпускать.

– Что? – спросил начальник.

– Те, кто не хотят, чтоб я вышел.

– А-а, вы про семью Хьюстонов. Нет, тут на прошении стоят только подписи прокурора, который вас засудил, вашего шерифа Хэба Хэмптона-младшего и еще В.К.Рэтлифа. Он не из Хьюстонов?

– Нет, – сказал он. Потом опять медленно, глубоко вздохнул. – Значит, я свободен?

– Мало того, – сказал начальник. – Вам не просто везет, вам вдвойне везет.

Но объяснил он ему, в чем дело, только назавтра, после того как ему выдали пару башмаков, рубашку, рабочий комбинезон, фуфайку и даже шляпу, все новехонькое, и еще бумажку в десять долларов и те три доллара восемьдесят пять центов, что оставались от сорока долларов, которые Флем послал ему восемнадцать лет назад, и тогда начальник сказал:

– Тут приехал помощник шерифа, привез заключенного из Гринвилля. Сегодня он едет обратно. За доллар он вас довезет прямо до Арканзасского моста, ведь вам как будто туда?

– Премного благодарен, – сказал Минк. – Я сначала поеду в Мемфис. У меня там дело есть.

Наверно, все тринадцать долларов и восемьдесят пять центов уйдут на покупку пистолета, даже в какой-нибудь мемфисской ссудной лавчонке. Он собирался пробраться в Мемфис на товарном поезде под вагонами или на буферах – так он ездил раза два, когда был мальчишкой и подростком. Но, едва выйдя за ворота, он понял, что боится. Слишком долго он сидел взаперти, забыл, как это делается; его мускулы, наверно, потеряли ловкость и упругость, он разучился действовать просто, быстро, не раздумывая, идти на риск. Потом он подумал – не попробовать ли осторожно забраться в пустой вагон, но понял, что и это он сделать не посмеет, что за тридцать восемь лет он, возможно, даже позабыл все неписанные правила братства мелких бродяжек, и вдруг спохватился, – да, слишком поздно.

Он стоял на обочине шоссе, которая тридцать восемь лет назад, когда он на нее ступил, даже не была вымощена камнем, и на грязи отпечатывались подковы мулов и железные ободья колес: теперь и с виду и на ощупь она стала гладкой, как пол, он это видел, а мог и потрогать, если вблизи не было мчащихся машин и грузовиков. В прежние времена любая повозка остановилась бы, чуть завидев поднятую руку. Но тут мчались не повозки, и он не знал, каким новым правилам они подчиняются. Конечно, если б он знал, как это теперь делается, он так бы и поступил, а не стоял тут, такой безобидный, тщедушный, ростом не больше ребенка, в новом комбинезоне и фуфайке, еще хранивших складки от лежания на полке, в новых башмаках и шляпе, как вдруг грузовик, проезжавший мимо, затормозил, остановился около него, и шофер спросил:

– Тебе далеко, папаша?

– В Мемфис, – сказал он.

– Я еду до Кларсдейла. Оттуда тебя другой подкинет. Не все ли равно – отсюда ли, оттуда.

Стояла осень, конец сентября, и он понял, что забыл еще одну вещь за тридцать восемь лет тюрьмы – времена года. Они и в тюрьме приходили и уходили, но в эти тридцать восемь лет единственное его право на них было терпеть из-за них мучения; от жары и солнцепека летом, хотел он работать в самое пекло или нет, от дождей и ледяной слякоти зимой, хотелось ему выходить или нет. Но теперь времена года снова принадлежали ему: через неделю наступит октябрь, тут, в плоской приречной долине, особенно глядеть не на что, он и тридцать восемь

лет назад смотрел на нее из окна вагона с неодобрением: одни голые стебли хлопка да свечи кипарисов. Но там, дома, в горах, вся земля будет золотой и алой от орешника, дубов и кленов, а сжатые поля затеплеют от шалфея и пятен пунцового чертополоха – за тридцать восемь лет он и это забыл.

И вдруг откуда-то из глубины памяти возникло дерево, одинокое дерево. Мать умерла, он не помнил ее, не помнил, сколько ему было лет, когда отец снова женился. Так что эта женщина не была ему родней, и она вечно об этом напоминала: воспитывает она его не из родственных чувств, не по обязанности и не потому, что он слабый и беспомощный и как-никак человек, а только потому, что она христианка. Но было в ней и что-то другое. Он сразу это почувствовал – в этой изможденной, измученной, неряшливой женщине, которую он всегда помнил либо с синяком под глазом, либо с грязной тряпкой, прижатой к тому месту, куда ее только что ударил муж. Но он всегда мог на нее надеяться, не на то, что она что-нибудь для него сделает, тут она была бессильна, но на ее постоянство, на то, что она всегда тут, всегда помнит о нем, прикрывает каким-то щитом, правда, никак его не защищавшим, а, наоборот, словно притягивавшим к нему и боль и горе. И все же она всегда была тут, слезливая, умученная, но постоянная.

Она все еще лежала в постели, утро уже прошло, и ей давным-давно пора было приняться за бесконечную возню, наполнявшую ее дни. Она никогда не болела, значит, муж избил ее на этот раз еще сильнее, чем обычно, и она лежала в кровати и говорила про еду, про требуху, про затхлую муку и патоку, – он считал, что все люди только это и едят, разве что поймают или подстрелят какую-нибудь дичь; как видно, удар на этот раз пришелся ей прямо по животу.

– Не могу я это есть, – ныла она, – мне бы чего-нибудь повкуснее, мяса беличьего кусочек.

Он понял: вот почему вспомнилось дерево. Тогда ему пришлось украсть ружье, – отец избил бы его до полусмерти, если бы узнал, – потом тащить тяжелую, больше него самого двустволку, до леса, к тому дереву, к ореху, прятаться за ним, скорчившись, и в сонном великолепии октябрьского дня ждать, пока не появится маленький зверек. И тут он стал дрожать (у него был один-единственный патрон) – и это он тоже вспомнил: невероятное усилие, с которым он старался поднять тяжелую двустволку, задыхаясь, бормоча в приклад: «Господи, дай, господи, дай!» – в толчок отдачи, в запах черного пороха – и вот уже можно было бросить двустволку и подбежать и поднять еще теплое пушистое тельце, а руки у него так дрожали и тряслись, что он еле-еле удержал его. И у нее руки тоже тряслись, когда она гладила тушку.

– Сейчас мы ее обдерем, поджарим, – говорила она, – сейчас мы ее вместе скушаем!

Тот огромный орех, конечно, давно погиб, его раскололи на дрова, на ободья или на доски много лет назад, может, и места того нет, где он стоял, – все выкорчевали, – может, так они думали, те, что срубили, уничтожили дерево. Но он-то видел его иначе: непорухенным в памяти и нерушимым, нетронутым и неприкасаемым в золоте и пышности октября. «Да, вот так оно и есть, – думал он, – не к месту какому тянет человека, может, этого места уже и нет, и не надо. А тянет человека тоска к тому, про что он вспоминает».

Вдруг он вытянул шею, выглянул в окошко:

– Как похоже на... – И сразу замолчал. Нет, он теперь на свободе, пусть хоть весь свет узнает, где он провел тридцать восемь лет. – ...на Парчмен, – договорил он.

– Ага, – сказал шофер, – тут лагерь.

– Что? – спросил он.

– Лагерь военнопленных, которые с войны.

– С какой войны?

– Да где же ты был последние пять лет, папаша? – сказал шофер. – Проспал?

– Я далеко был, – сказал он. – Помню, была какая-то война с испанцами, – я тогда был мальчишкой, потом с немцами. А с кем они сейчас дрались?

– Со всеми. – Шофер крепко выругался. – С немцами, с японцами, даже с Конгрессом дрались. А потом струсили. Дали бы они нам побить русских, и все было бы в порядке. А они только фрицев и япошек побили, а потом решили всех задушить до смерти деньгами.

Он подумал: «Да, деньги». Потом сказал:

– Если бы у тебя было двадцать пять долларов, а ты нашел бы еще тридцать восемь, сколько же это выходит?

– Чего? – спросил шофер. – Да я бы и не остановил машину, чтобы подобрать тридцать восемь долларов. На черта ты меня спрашиваешь? Может, у тебя есть эти шестьдесят три доллара, а ты не знаешь, куда их девать?

«Шестьдесят три, – подумал он. – Вот, значит, сколько мне лет. Он подумал спокойно, мирно: Какая уж справедливость, я об этом никогда не просил, только чтоб было по-честному, и все».

Вот и все: пусть ничто ему не помогает, только бы ничто не шло против него. Вот все, чего он хотел, и теперь так оно и выходило.

## 6. В.К.РЭТЛИФ

– Значит, ты и к поезду не выйдешь встречать ее? – говорит Чик. Юрист даже головы не поднял, сидит за письменным столом и всем своим существом (во всяком случае, всем своим носом) погружен в бумаги, будто в комнате, кроме него, ни души нет. – Это же не просто новая девочка приезжает в наш город, – говорит Чик, – это же раненый ветеран войны женского пола. Впрочем, нет, какая же она новая девочка, – говорит, – слово не то. Вообще слово «новая» тут никак не подходит. Во-первых, она в Джефферсоне человек не новый, потому что она тут родилась и выросла. Да и если она даже и была когда-то «новенькой» в Джефферсоне или еще где, так это давно прошло, потому что если ты когда-то где-то и была новенькой, так с тебя вся новизна слетит, когда побываешь в Испании с поэтом из Гринич-Вилледжа и будешь там бить Гитлера. Особенно если из-за этого поэта вас обоих изувечит снарядам. Особенно если ты – женщина. Так что, вернее сказать, это не просто знакомая девушка, которая когда-то тут росла, приезжает в Джефферсон, но первая девушка, знакомая или незнакомая, которая возвращается в Джефферсон с войны, раненая. Солдаты, мужчины, те приезжали, это да. Но ведь для нас это первая девушка, первая женщина-солдат, уж не говоря о том, что она действительно пострадала от врага. Разумеется, я не говорю про всякие насилия по той простой причине, что сейчас разговор идет не о насилиях. – Но его дядя даже не шелохнулся. – А я-то думал, что ты весь город соберешь на вокзал – встречать ее. Просто из симпатии, из сочувствия, я уже не говорю – из сострадания: девушка отправилась бог знает куда, в самую Испанию, из-за этого у нее и мужа убили, и у самой от снаряда обе барабанные перепонки лопнули. М-да, миссис Коул, – говорит.

Юрист и тут не поднял головы.

– Коль, – сказал он.

– А я так и говорю, – сказал Чик. – Миссис Коул.

На этот раз Юрист повторил по буквам.

– К-о-ль, – говорит. Но и до того, как он произнес по буквам, фамилия прозвучала у него совсем по-другому, иначе чем у Чика. – И был он скульптор, а не поэт. И убило его не снарядам, а в самолете.

– Ну, тут ничего удивительного нет, раз он был всего только скульптор, – говорит Чик. – Естественно, скульптор не так ловко может уклоняться от пулеметных очередей, как поэт. Скульптор привык стоять на одном месте. А может быть, это случилось не в субботу, и у него шапки на голове не было.

– Он летел в самолете, – сказал Юрист. – Самолет подбили. Он упал и сгорел.

– Что? – сказал Чик. – Неужели гринич-вилледжский скульптор по фамилии Коль и в самом деле не побоялся летать на самолете там, где его мог подстрелить противник? – Он смотрел на своего дядю сверху, прямо ему на макушку. – Значит, не Коул, – сказал он, – а Коль. Странно, что он не переменял фамилию. Разве их нация обычно не меняет фамилии?

И тут Юрист закрыл свою папку, ничуть не торопясь, положил ее на стол, отодвинул кресло, откинулся на спинку и заложил руки за голову. Волосы у него начали сесть, когда он вернулся еще с той войны, из Франции, в 1919 году. А теперь он стал совсем седой, и сидел он спокойно, откинувшись в кресле, волосы, как белая грива, золотой ключ – значок Гарвардского университета – на цепочке от часов, в кармане рубашки торчит простая тростниковая трубка черенком кверху, будто зубочистка или карандаш, а он сидит себе и смотрит на Чика, чуть ли не с полминуты.

– В Гарварде тебя этому не учили, – говорит. – А я-то думал, что после двух лет в Кембридже ты, может, про это и не вспомнишь, даже когда вернешься в Миссисипи.

– Ладно, – сказал Чик. – Виноват. – Но Юрист сидел спокойно в кресле и смотрел на него. – О, черт! – говорит Чик. – Я же сказал: виноват!

– Нет, ты вовсе не чувствуешь себя виноватым, – сказал Юрист. – Просто тебе стыдно.

– А разве это не одно и то же? – спрашивает Чик.

– Нет, – говорит Юрист. – Когда тебе просто стыдно, значит, у тебя еще нет отвращения к таким вещам. Тебе только противно, что тебя поймали.

– Ну, ладно, ты меня поймал, – сказал Чик. – И мне стало стыдно. Чего тебе еще от меня нужно? – На это Юрист даже не ответил. – Может, я тут ничего поделать не могу, – говорит Чик, – даже после двух лет в Гарварде. Может, я до Гарварда слишком долго жил среди тех, кого мы в Миссисипи зовем белыми людьми. Неужели тебе может быть за меня стыдно оттого, что я вовремя чего-то не понял?

– Да мне за тебя вообще не стыдно, – сказал Юрист.

– Ну, хорошо, – говорит Чик, – значит, ты из-за меня огорчаешься.

– Нет, я из-за тебя и не огорчаюсь, – говорит Юрист.

– Какого же черта мы затеяли весь этот разговор? – говорит Чик.

Так что человеку, который десять – двенадцать лет назад не жил в Джефферсоне или вообще в Йокнапатофском округе, могло показаться, что тут заинтересованное лицо – Чик. И он так здорово заинтересован, что не только заранее готов приревновать своего дядю, но и уже ревнует его, хотя предмет ревности или, так сказать, яблоко раздора еще не прикатило домой, а он его десять лет даже и не видел. Выходит, что он ревнует не просто к девушке, которую не видел десять лет, но ревнует оттого, что ему было всего лет двенадцать – тринадцать, а она уже была совсем взрослая, девятнадцатилетняя, когда он ее в последний раз видел, а такая разница в годах – непреодолимая преграда: даже если обоим прибавить года по три, по четыре, и то преграда останется, конечно, ежели из них старше она, а не он. Вы, наверно, подумаете, что мальчишка двенадцати – тринадцати лет еще не может ревновать по-мужски, что нет в нем того горячего, которым ревность разжигается и столько времени горит, да еще из-за девятнадцатилетней девушки, впрочем, так бывает из-за любой женщины, от восьми до восьмидесяти лет, только вот никому не известно, когда же это человек еще настолько молод, что может не тратить горячее, не давать пожару в себе разгореться. Разве есть такой возраст, когда человек слишком молод, чтобы дать опутать, удушить свое сердце той единственной прядью волос Лилит<sup>10</sup>, как говорится в стихах. Или слишком стар, это все равно. Да, кроме того, теперь, когда она вернется, она хоть и будет по-прежнему старше его на шесть-семь лет, но теперь она будет на шесть-семь лет старше двадцатидвух-двадцатитрехлетнего парня, а не двенадцати – тринадцатилетнего мальчишки, а это уже и вовсе не помеха. Теперь он уже не будет стоять в стороне перед этой петлей, этой прядью волос, как невинная, малолетняя жертва, теперь он уже сам будет на это дело напрашиваться, сам будет лезть в петлю, драться за право попасть в петлю. И драться не только за право и за честь быть удушенным, но и за право попасть в петлю первее всех.

---

<sup>10</sup> Лилит в библейской литературе – демон ночи, изображался как соблазнительная женщина с длинными волосами.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.